

АНДРЕЙ ПОНОМАРЕВ

ЖИВОЙ
ARCHIV.RAR

Андрей Пономарев

Живой архив

«Автор»

2026

Пономарев А. В.

Живой архив / А. В. Пономарев — «Автор», 2026

Он был идеальным оружием Страны Советов — супербоец группы Альфа-1. Когда империи рушатся, герои становятся призраками. Деактивированные и преданные забвению, они жили обычной жизнью, пока не прозвучал новый приказ: уничтожить. Глеб пережил подстроенную аварию и два года комы, оставленный умирать, отвергнутый семьей. Но в глубинах его подсознания проснулась древняя программа. Память вернулась, и с ней — беспощадная жажда возмездия. Глеб больше не жертва, он — судья, и его приговор ждет тех, кто пытался стереть Альфа-1 с лица земли.

© Пономарев А. В., 2026

© Автор, 2026

Андрей Пономарев

Живой архив

Благодарю Евгения Курылёва за подачу идеи и вдохновение.

Часть 1 Дважды проснувшийся

Глава 1

Я открыл глаза.

Сначала мне показалось, что я еще сплю. Свет был слишком белым, слишком ровным, как будто мир вокруг меня нарисовали мелом на стекле. Я смотрел вверх, в незнакомый потолок, где дрожал холодный отблеск ламп, и никак не мог понять, где нахожусь.

Потом я услышал звуки.

Тихое, настойчивое попискивание. Шорох. Редкий металлический щелчок. Где-то рядом мерно капала жидкость — кап... кап... кап... С усилием переведя взгляд в сторону, я увидел стойку с капельницами. Прозрачные трубки тянулись вниз, к моей руке. Еще какие-то провода шли от груди, от пальцев, от плеча — все это было подсоединено к аппаратам с мигающими огоньками.

Палата. Нет... не просто палата.

Реанимация.

От этой мысли внутри похолодело. Я попробовал глубже вдохнуть — и услышал собственное дыхание. Ровное, слабое, но свое. Аппарат искусственного дыхания стоял сбоку, однако трубка ко мне не шла. Значит, дышу сам. Уже хорошо. Или только кажется, что хорошо?

Я хотел поднять руку — не смог.

Попытался повернуть голову — движение вышло едва заметным, жалким. Тело будто не принадлежало мне. Словно я был заключен внутри него, как человек в тесном, неподъемном скафандре. Что произошло?

Я закрыл глаза, стараясь собрать мысли. Они расползались, как потревоженные тени.

Как меня зовут?

Глеб Валентинович.

Да. Это я помнил точно. А дальше? Какой сейчас год? Какой месяц? Почему я здесь? Сколько я здесь?

Память возвращалась рывками. Не как ровная лента, а как вспышки молнии в темноте.

Машина.

Шоссе.

Я за рулем.

Спешу домой — нет, не просто домой. На свадьбу к младшему сыну.

Егор.

У меня трое детей. Два сына и дочь. Кирилл, Егор и Катерина. Я помню это отчетливо, до странности отчетливо, как будто эти имена были прибиты внутри меня гвоздями, чтобы не потерялись. Кирилл — старший. Всегда серьезный, даже в детстве. Егор — младший, живой, порывистый, с этой своей упрямой улыбкой. Катерина — между ними, с глазами матери и характером куда тверже, чем казалось на первый взгляд.

Свадьба Егора.

Да, именно. Я ехал туда. 1998 год. Мне пятьдесят пять лет. Я выехал на шоссе, проехал немного... И все.

Пустота.

Я снова открыл глаза. Сердце забило чаще, тут же отозвались приборы — писк стал резче, тревожнее. На экране побежали скачки зеленой линии.

Неужели авария?

Я напряг память изо всех сил. Дорога была сухая или мокрая? Светило ли солнце? Была ли встречная машина? Я пытался ухватить хоть что-нибудь — скрип тормозов, удар, вспышку фар, чей-то крик, собственную боль.

Ничего.

Только ощущение скорости и спешки. И еще — странная мысль, будто я очень боялся опоздать.

Я хотел позвать кого-нибудь. Медсестру. Врача. Да хоть кого. Хотел спросить: какой сейчас час? Что со мной? Где моя семья? Почему я не помню, как оказался здесь?

Я разомкнул губы.

Из горла вышел не голос, а слабый, едва слышный хрип.

Я попытался еще раз, сильнее, но грудь отозвалась тупой тяжестью, а язык будто разучился двигаться. Паника подступила мгновенно. Я рванулся всем телом, как человек, которого затачивает под воду, — и не смог почти ничего. Только пальцы на левой руке, кажется, дрогнули.

Все так плохо?

В этот момент дверь открылась.

Я не сразу увидел, кто вошел. Сначала — силуэт на фоне коридорного света. Потом белый халат. Женщина. Она быстро подошла к аппаратам, взглянула на экран, затем наклонилась ко мне.

— Тише, тише, — сказала она мягко, но уверенно. — Не волнуйтесь. Слышите меня? Если слышите — моргните.

Я моргнул.

Она облегченно выдохнула.

— Вот и хорошо. Не пытайтесь сейчас говорить. Вам нельзя перенапрягаться.

Нельзя? Почему нельзя? Сколько мне нельзя? Что со мной?

Я уставился на нее так, как, наверное, смотрит утопающий на человека с берега.

Она заметила этот взгляд.

— Я понимаю, вы хотите спросить, где вы, — сказала она. — Вы в больнице. В безопасности.

В безопасности.

Слова были правильные, но совершенно бесполезные.

Я снова моргнул, потом, собрав остаток сил, попытался шевельнуть рукой. Пальцы дрогнули. Она проследила за движением.

— Вам что-то нужно? — спросила она.

Я медленно, мучительно повел глазами по сторонам, будто надеялся, что она догадается.

— Хотите что-то узнать?

Да.

Да! Хочу!

Я моргнул несколько раз подряд.

Она задумалась на секунду, потом наклонилась ближе.

— Вы помните свое имя?

Я моргнул один раз.

— Хорошо. Это очень хорошо. Значит, память частично сохранена.

Частично?

Сердце опять глухо ударило в грудь.

— Не тревожьтесь раньше времени, — сказала она, заметив, как изменились показания приборов. — Врач скоро придет. Он вам все объяснит.

Все объяснит.

Я смотрел на нее и чувствовал, как внутри растет ледяной страх. Если все можно объяснить, значит, случилось что-то большое. Что-то такое, после чего человеку не просто ставят капельницы и датчики.

Я снова попробовал заговорить. На этот раз получилось только выдохнуть:

— К... кх...

Она осторожно коснулась моей руки.

— Не надо. Поберегите силы.

Но как можно беречь силы, когда не знаешь, кто ты теперь и сколько времени у тебя отняли?

Я закрыл глаза лишь на миг, и вдруг передо мной ясно вспыхнула картинка: дорога, серое небо, руки на руле, стрелка спидометра, поворот... Потом — ослепительный свет. Или это мне только показалось?

Я резко распахнул глаза.

Медсестра все еще стояла рядом. Я смотрел на нее, пытаюсь вложить в этот взгляд единственный вопрос, самый страшный из всех: сколько времени прошло?

Наверное, она что-то поняла. Лицо ее дрогнуло. Она отвела взгляд, потом снова посмотрела на меня — уже не только по-медицински, а по-человечески, с жалостью, которой мне совсем не хотелось видеть.

И тогда я понял: дело не только в аварии. Дело во времени. Во времени, которого у меня, возможно, больше нет. Или, наоборот, которого прошло слишком много.

За дверью послышались шаги.

— Врач идет, — тихо сказала она.

Я уставился в дверной проем, чувствуя, как все внутри сжимается.

Сейчас я узнаю, что случилось на том шоссе. Сейчас я узнаю, какой год. И почему я не смог ни пошевелиться, ни позвать на помощь. И почему мне вдруг так страшно услышать ответ.

Дверь открылась не сразу. Сначала я услышал негромкие голоса в коридоре, потом ровные, неторопливые шаги. В палату вошел мужчина в очках, в белом халате, с усталым лицом человека, который слишком часто сообщает плохие новости.

За ним — та же медсестра.

Врач остановился у кровати, посмотрел на экран аппарата, что-то отметил в планшете, а потом перевел взгляд на меня.

Не на пациента. На человека, который только что вернулся оттуда, откуда обычно не возвращаются.

— Здравствуйте, Глеб Валентинович, — сказал он спокойно. — Меня зовут Сергей Павлович. Я ваш лечащий врач.

Я смотрел на него не отрываясь.

— Если вы меня понимаете, моргните один раз.

Я моргнул.

— Хорошо. Очень хорошо. Это уже больше, чем мы ожидали.

Больше, чем ожидали. Почему-то именно эти слова ударили сильнее всего.

Врач чуть придвинул стул и сел рядом, как будто собирался не просто поговорить, а остаться здесь надолго. Медсестра стояла сбоку, опустив глаза.

— Вам сейчас тяжело, — продолжил он. — Вы дезориентированы, не можете нормально двигаться и говорить. Это естественно. Вашему организму потребуется время.

Время.

Я напрягся всем существом. Он заметил это.

— Думаю, вы хотите узнать, что произошло.

Я моргнул.

— У вас была тяжелая автомобильная авария. На шоссе. Вас нашли не сразу. Была черепно-мозговая травма, множественные повреждения, длительная гипоксия. Вы выжили, но впали в глубокую кому.

Слова звучали глухо, будто через стену.

Авария.

Значит, не показалось. Значит, был удар.

А эта, свадьба...

Егор.

Я попытался дернуться, спросить, но тело только беспомощно напряглось. Аппарат тут же отозвался настойчивым писком.

— Спокойно, — мягко сказал врач. — Не нужно. Я понимаю.

Нет, не понимаете, хотел сказать я. Не понимаете, что у меня сейчас внутри. Где мои дети? Живы ли они? Состоялась ли свадьба? Почему рядом никого нет?

Врач на секунду замолчал. Потом произнес:

— Вы были в коме два года.

Если бы можно было упасть глубже, чем я уже лежал, я бы упал.

Два года.

Не два дня. Не две недели — два года.

Я уставился на него, а в голове не сразу сложились цифры. Там, в машине, был 1998 год. Мне было пятьдесят пять.

Два года.

Значит...

Я лихорадочно задышал. Медсестра шагнула ближе.

— Сейчас... 2000 год, — сказал врач, очень осторожно, следя за моим лицом. —

Октябрь.

Октябрь.

Не тот месяц. Не тот год. Все ушло. Все, что должно было случиться сразу после той дороги, случилось без меня.

Я закрыл глаза, и передо мной вдруг встали обрывки прошлого: накрытый стол, музыка, чужие улыбки, Егор в костюме, Катерина поправляет волосы, Кирилл недовольно смотрит на часы... И тут же все рассыпалось, потому что я не знал, было ли это воспоминанием или только тем, что я сам дорисовал.

Я снова открыл глаза. Врач молчал. Я смотрел на него с единственным вопросом, от которого холодела душа.

Где они?

И он понял.

Его лицо стало еще тяжелее. Он сцепил руки и некоторое время ничего не говорил. Потом произнес — медленно, с расстановкой, будто каждая фраза могла причинить физическую боль:

— Ваши дети были здесь. В первое время. Все трое.

В первое время.

Я жадно вслушивался в каждое его слово.

— Состояние ваше было крайне тяжелым. Прогнозы... были очень плохими. Честно говоря, почти никто не верил, что вы придете в сознание.

Почти никто.

— Первые месяцы они приезжали. Интересовались. Ждали изменений. Но время шло. Никакой положительной динамики не было.

Я почувствовал, как в груди медленно растет что-то острое, тягучее.

Нет.

Нет, скажи, что они не смогли. Что им было больно. Что жизнь заставила. Скажи что угодно, только не...

— Затем начались вопросы с вашим имуществом, — продолжал врач, уже сухо, как будто хотел поскорее снять с себя этот груз. — Дом, машина, счета, дача... Насколько я понял из документов, все было распродано по доверенностям и через суд, как имущество человека, признанного недееспособным.

У меня потемнело в глазах.

Дом. Машина. Счета. Дача. Моя жизнь, собранная по кирпичу, по копейке, по десятилетиям.

Все продано.

Я попытался издать звук, но вышел только сиплый, рваный выдох. Медсестра отвернулась.

Врач смотрел прямо на меня — не от жестокости, а потому что считал: лучше так, чем ложь.

— Часть денег, как указано, ушла на лечение. Но затем выплаты прекратились. Ваши дети перестали приезжать.

Перестали.

Как будто это был не я. Как будто в этой кровати лежал кто-то чужой, неудобный, ненужный, затянувшийся.

— Где они сейчас? — почти беззвучно спросил я одними губами, сам не понимая, услышал ли он.

Но он понял и это.

— Мы не поддерживаем с ними постоянной связи, — ответил он. — Известно только, что разъехались. Старший сын, кажется, уехал в другой город. Младший — тоже. Дочь после последнего визита оставила номер, но он уже не отвечает.

Я смотрел на него и не мог поверить, что человеческая жизнь, может быть, вот так вычеркнута — не смертью, а удобством.

Не стало отца — ну и ладно. Осталось имущество — его можно разделить. Осталось тело — пусть лежит. Если умрет, вопрос закроется сам собой. Если не умрет... ну, значит, все еще хуже.

Врач выдохнул.

— Поймите правильно. Для них вы были... в очень тяжелом состоянии. Практически без шансов. И, вероятно, они решили...

Он запнулся, подбирая слово.

— Решили жить дальше, — закончил он.

Жить дальше.

Без меня.

С моим домом. С моими вещами. С моими деньгами. С воспоминанием обо мне как о человеке, которого уже можно считать умершим.

Внутри вдруг поднялась не только боль, но и обжигающая, страшная ясность. Я вспомнил, как когда-то учил Кирилла держать молоток. Как Егор в детстве падал с велосипеда и плакал, уткнувшись мне в плечо. Как Катерина, маленькая, засыпала у меня на руках в кресле, пока я читал газету.

И все это куда-то делось. Не в один момент. Не после аварии. Может быть, оно умирало задолго до того, как моя машина выехала на шоссе.

— Почему... — выдавил я, и это слово вышло таким слабым, что больше походило на хрип.

Но врач услышал.

— Я не могу ответить за них, — сказал он тихо. — Могу только сказать, что обычно родственники не выдерживают длительного ожидания. Особенно когда врачи не дают надежды. Иногда у людей включается... жестокая практичность. Они начинают делить не человека, а последствия.

Жестокая практичность. Хорошие слова. Удобные. Почти благородные. Только за ними скрывалось простое: меня похоронили живым.

Врач поднялся.

— Есть еще кое-что, о чем вы должны знать, — сказал он.

Я смотрел на него уже почти без сил.

— После двух лет комы и полной неподвижности у вас очень тяжелое состояние мышц, суставов, нервной системы. Вам понадобится долгая реабилитация. Очень долгая. И она будет мучительной. Возможно, вы не сможете полностью восстановиться. Возможно, даже сидеть самостоятельно получится не скоро.

Каждое слово било точно в одно место.

— И... — он снова замолчал, — у нас нет подтверждения, что кто-то из родных готов взять на себя уход. Социальная служба будет решать ваш дальнейший статус после перевода из реанимации.

После перевода.

Статус.

Не человек.

Случай.

Дело.

Папка.

Я понял все окончательно. Они не просто уехали. Они оставили меня здесь умирать. Потому что так было проще. Потому что пятьдесят пять лет в их памяти уже превратились в «старика», с которым придется возиться, кормить с ложки, поднимать, переворачивать, как ребенка. А ребенок хотя бы растет. А я, по их расчету, должен был только слабеть и приближаться к концу.

Я почувствовал, как по виску ползет слеза. Ни рукой стереть, ни отвернуться.

Медсестра быстро наклонилась и осторожно промокнула ее салфеткой.

— Не надо, — шепнула она. — Не сейчас.

Но было уже поздно.

Я плакал не от боли. Не от страха. Даже не от того, что потерял два года жизни. Я плакал от того, что, вернувшись, не нашел никого. Ни одного человека, который бы ждал.

Врач постоял еще немного, потом сказал очень тихо:

— Вам нужно беречь силы. Вы живы, Глеб Валентинович. Пока этого достаточно.

Нет, подумал я. Этого недостаточно.

Живы — это когда тебя ждут. Когда твое имя кому-то нужно. Когда твой дом стоит на месте, а дети не делят тебя раньше смерти. А я очнулся в мире, где меня уже списали.

Дверь закрылась. Медсестра вышла вслед за врачом, только перед этим еще раз взглянула на меня — с жалостью, которой я по-прежнему не хотел.

Я остался один.

Писк аппаратов.

Капли в прозрачной трубке.

Слабое, чужое тело. И пустота, страшнее самой комы.

Я смотрел в потолок и думал только об одном: может быть, самое страшное случилось не тогда, на шоссе. Может быть, самое страшное случилось потом — когда самые близкие люди решили, что меня уже нет, и им так стало удобнее.

И все же где-то глубоко, под болью, под унижением, под этим новым ледяным одиночеством, вдруг шевельнулась едва заметная мысль.

Если я выжил. Если я все-таки открыл глаза. Значит, еще не конец. И, может быть, у меня осталось совсем немного — не сил, не здоровья, не прежней жизни. Но осталось право узнать, кем стали мои дети.

И кем после всего этого стану я сам.

Глава 2

Первые дни после разговора с врачом слились для меня в один бесконечный, серый отрезок времени.

Я почти не спал. Вернее, проваливался в тяжелое забытье, а потом снова приходил в себя под все тот же мерный писк аппаратов, под капанье капельниц, под чужие шаги за дверью. Иногда мне казалось, что лучше бы я и не просыпался вовсе. Там, в коме, по крайней мере, не было этой ясности. Не было знания. Не было горечи.

Теперь же она была со мной постоянно.

Я лежал и думал о доме, которого больше нет. О машине, которая, наверное, давно разобрана на металлолом. О даче, где когда-то пахло яблоками и мокрой землей после дождя. О детях, которые, оказывается, сумели прожить два года, будто меня уже не существует.

Но сильнее всего я думал о собственном теле. Оно предало меня самым унижительным образом. Человек, который еще вчера — по моим внутренним часам — сидел за рулем, спешил на свадьбу сына, ощущал силу в руках и уверенность в ногах, теперь не мог сам даже повернуться на бок. Меня переворачивали медсестры. Поднимали. Мыли. Кормили. Все то, что обычно скрыто от человеческого достоинства, вдруг оказалось выставлено наружу, под яркий больничный свет.

И первое настоящее чувство, которое вернуло меня к жизни, была не надежда.

Злость.

Она пришла тихо, почти незаметно. Не как вспышка, а как медленный, тяжелый груз на сердце.

«— Нет, — думал я, глядя в потолок. — Нет. Не так. Не лежать здесь до конца, как вещь, забытая на складе. Не умирать потому, что кому-то лень ухаживать. Не подтверждать их расчет. Если они уже похоронили меня — значит, я должен встать хотя бы назло»

Через несколько дней меня перевели из реанимации в обычное отделение.

Слово «обычное» оказалось насмешкой. Для меня все было чрезвычайным. Даже просто лежать в другой палате было испытанием: перевозка на каталке вызвала такую бурю боли и слабости, что после нее я долго не мог отдышаться.

Палата была на двоих, но вторую койку пока никто не занимал. У окна стоял маленький стол, на подоконнике — пластиковый стакан с водой и какой-то полусохший цветок, оставшийся, видимо, от прежнего пациента. Впервые за долгое время я увидел не только потолок, но и кусок мира снаружи: ветки деревьев, серое небо, редкие машины за больничной оградой.

Мир продолжал идти вперед. А я лежал и учился смотреть на это без зависти.

На следующее утро ко мне пришла женщина лет сорока с собранными в тугий пучок волосами и спокойным, внимательным лицом.

— Доброе утро, Глеб Валентинович, — сказала она, кладя у кровати свою папку. — Меня зовут Анна Игоревна. Я ваш реабилитолог.

Я посмотрел на нее настороженно.

Она, кажется, сразу поняла, что я ожидаю не помощи, а очередного приговора.

— Сразу предупрежу, — сказала она. — Будет очень трудно. Очень больно. Медленно. И часто — обидно. Но если вы действительно хотите восстановиться, мы начнем сегодня.

Сегодня. Не завтра. Не «когда окрепнете». Не «посмотрим по состоянию».
Сегодня.

Это слово мне понравилось. И я попытался кивнуть. Голова дрогнула едва заметно.

— Хорошо, — сказала она, словно этого было достаточно. — Тогда начнем с малого.

Как я вскоре понял, «малое» в реабилитации означает почти невозможное.

Сначала она просто брала мои руки и сгибала пальцы. Медленно, по одному. Потом кисти. Локти. Плечи. Каждое движение отзывалось тупой, ржавой болью, будто суставы за два года успели зарастить изнутри чем-то чужим. Ноги были еще хуже. Когда она попыталась согнуть колено, у меня потемнело в глазах.

Я захрипел.

— Дышите, — спокойно сказала она. — Не дергайтесь. Дышите.

Да что ты знаешь о такой боли, хотел подумать я раздраженно, но в тот же миг понял: знает. Иначе не говорила бы таким тоном. Не жалостливо, не сюсюкая, а как человек, который сто раз видел, как взрослые, сильные когда-то люди учатся жить заново.

Через десять минут я был весь в поту. Через пятнадцать — измотан так, будто разгружал вагоны.

— На сегодня хватит, — сказала она.

Я посмотрел на нее почти с ненавистью.

Хватит? И это все? Это и есть мой путь назад? Шевельнуть пальцем, согнуть кисть, дожить до следующего утра?

Она, видимо, прочла это на моем лице.

— Вы сейчас думаете, что это унижительно и бессмысленно, — сказала она. — Все так думают. А потом оказывается, что именно из этих мелочей и собирается человек.

Она закрыла папку и добавила:

— Вы не умерли. Значит, теперь придется работать.

Работать пришлось с первого же дня, как на каторге.

Сначала меня учили сидеть. Я и представить не мог, что просто сесть на кровати — это почти подвиг. Двое санитаров поднимали меня, Анна Игоревна поддерживала за спину, а меня при этом мутило, бросало в жар, сердце колотилось, как ненормальное, а перед глазами плыли черные круги.

Когда мою тушку впервые посадили, я продержался меньше минуты. Потом завалился набок, тяжело дыша, будто пробежал километр.

— Нормально, — сказала Анна Игоревна. — Для первого раза отлично.

Мне хотелось рассмеяться от горечи. Отлично? Человек пятидесяти пяти, нет, пятидесяти семи лет сидит сорок секунд и считается молодцом.

Но на следующий день я просидел минуту.

Потом полторы.

Потом три.

Эти числа были жалкими. Почти детскими. И все же я ждал их с жадностью игрока, который цепляется за каждую мелкую победу.

Через неделю мне впервые дали в руки ложку. Пальцы слушались плохо. Кисть дрожала. Тарелка с жидкой кашей стояла передо мной как издевательство. Я зачерпнул слишком много, расплескал половину, кое-как донес до рта — и уронил остаток себе на больничную рубашку.

Медсестра шагнула ко мне на помощь.

— Нет, — прохрипел я.

Это слово далось трудно, но я сказал его сам.

Она остановилась.

Я снова сжал ложку. Рука дрожала так, что зубы непроизвольно стискивались от напряжения. Со второго раза получилось донести до рта хоть немного.

Каша была безвкусной, чуть теплой, мерзкой. Но никогда я в жизни не ел ничего важнее. Голос возвращался медленно.

Сначала — отдельные звуки. Потом слоги. Потом короткие слова, которые царапали горло, как ржавчина.

— Вода.

— Больно.

— Еще.

— Нет.

— Да.

Особенно часто я говорил одно слово:

— Еще.

Анна Игоревна это заметила. И однажды, после особенно тяжелого занятия, когда меня учили удерживать равновесие сидя без опоры, я чуть не свалился и выругался таким сиплым, срывающимся шепотом, что она неожиданно усмехнулась.

— А характер у вас крепче мышц, — сказала она.

— Мыш... цы... — выдавил я, тяжело дыша. — Вернем.

— Вот это уже правильный разговор.

Иногда мне казалось, что она намеренно не дает мне послабление. И за это я был ей благодарен. Жалость разъедает человека, как кислота. А мне и без того было чем разрушаться изнутри.

Самым страшным днем стал день, когда меня впервые поставили на ноги. Это случилось почти через три недели после перевода.

К тому времени я уже мог сидеть довольно долго, сам немного шевелил руками, даже удерживал кружку двумя ладонями. Мне казалось, что я уже многого достиг.

Пока не пришло время встать.

В палату привезли ходунки. Металлические, холодные, на вид нелепые. Я посмотрел на них с отвращением.

— Без них пока никак, — сказала Анна Игоревна.

— Я... не старик, — прохрипел я.

Она посмотрела на меня ровно.

— Конечно, нет. Старики часто ноют больше вас.

Я бы усмехнулся, если бы не был слишком напряжен.

Санитар подхватил меня под мышки. Анна Игоревна поставила мои ноги правильно, объясняя, где держать вес, как распределять усилие. Я почти не слушал. Все внутри сжалось в один узел.

— Готовы? — спросила она.

Нет.

Но я прохрипел:

— Да.

Меня подняли.

Мир тут же качнулся. Пол оказался где-то ужасно далеко. Колени затряслись. В ступнях вспыхнула дикая, режущая боль, словно они не были созданы для того, чтобы держать тело. Спина загорелась огнем. Я вцепился в ходунки так, будто падал с обрыва.

— Стоим, — твердо сказала Анна Игоревна. — Стоим. Не садимся.

— Не... могу...

— Можете.

Я зажмурился. Тело дрожало от макушки до пят. По вискам катился пот. Мне казалось, что сейчас я потеряю сознание.

— Десять секунд, — сказала она. — Только десять.

Десять секунд растянулись в целую вечность.

— Пять еще.

Я хотел послать ее к черту. Честное слово, хотел. Но вместо этого лишь хрипло застонал и остался стоять.

— Все. Садимся.

Когда меня снова уложили на кровать, я лежал, не чувствуя ничего, кроме бешеного сердцебиения. А потом вдруг понял: я стоял. Плохо, дрожа, держась за железку, как беспомощный калека, — но стоял на собственных ногах.

Я отвернулся к окну, потому что глаза неожиданно защипало. Анна Игоревна ничего не сказала. Только сделала отметку в своей папке.

Но уже у двери обернулась:

— Поздравляю, Глеб Валентинович. Сегодня вы доказали, что вас рано списали.

И впервые за все это время я улыбнулся. Слабо. Криво. Но по-настоящему.

Реабилитация не была красивой борьбой, как это бывает в кино. Там человек сжимает зубы, поднимается под вдохновляющую музыку — и через пару сцен уже идет по коридору почти самостоятельно.

В жизни все оказалось гораздо грязнее и тяжелее. После хорошего дня наступали два плохих. После маленького успеха — откат назад. Сегодня я мог сам держать ложку, а завтра рука дрожала так, будто я снова вернулся в первые дни. Сегодня проходил два шага с ходунками, а завтра не мог встать без резкой боли в бедре. Настроение скакало от упрямой решимости до черной, липкой тоски.

Однажды ночью я не выдержал.

Проснулся от боли в ногах, от ощущения собственной никчемности, от мыслей, что все это бесполезно. Что даже если я встану, куда мне идти? К дому, которого больше нет? К детям, которые отказались от меня еще до моей смерти? К какой жизни я вообще возвращаюсь?

Я лежал в темноте и тихо, беззвучно плакал, уткнувшись взглядом в стену, а утром пришла Анна Игоревна и сразу поняла, что что-то не так.

— Сегодня заниматься не будете? — спросила она.

Вопрос был обычным, но в нем слышалась проверка.

Я долго молчал, потом выдал:

— Зачем?

Она не переспросила.

— Хороший вопрос, — сказала она. — Очень правильный. Только отвечать на него должна не я.

— А кто? — прохрипел я.

— Вы.

Я горько усмехнулся:

— Для кого?

Она подошла ближе.

— Для начала — назло. Это тоже годится. Потом, может быть, для себя. А потом увидите.

Я отвел взгляд.

— У меня... ничего нет.

— Неправда, — сказала она неожиданно жестко. — У вас есть вы сами. Большинство людей начинают ценить это только тогда, когда почти все потеряли.

Я молчал.

Она взялась за спинку стула и добавила уже мягче:

— Вас предали — это страшно. У вас украли два года — это страшно. Но если вы сейчас сдадитесь, вы сами отдадите им все остальное.

Эти слова ударили прямо в цель. Я долго смотрел на свои руки. Худые, слабые, чужие. Потом прохрипел:

— Давайте... заниматься.

И мы занимались.

Постепенно палата, коридор, поручни у стен, кресло-каталка, ходунки, резиновые мячики для кистей, счет до десяти при каждом упражнении — все это стало моей новой работой.

Я учился заново самым простым вещам. Поворачиваться без посторонней помощи. Садиться. Спускать ноги с кровати.

Подниматься.

Делать шаг.

Пить из кружки, не обливаясь. Застегивать пуговицу дрожащими пальцами. Произносить длинные фразы, не сбиваясь на хрип.

Иногда я ненавидел каждую минуту этого труда. Иногда — гордился собой так, как не гордился даже в молодости. Потому что в молодости сила дается как само собой разумеющееся. Ты не думаешь о ней. Не ценишь, что можешь подняться по лестнице, повернуть ключ в двери, налить воду в стакан, просто встать и подойти к окну.

Теперь же каждое такое действие было маленькой победой над пустотой.

Однажды, спустя почти два месяца после начала реабилитации, Анна Игоревна подвела меня к окну в конце коридора.

Без каталки.

Только с ходунками.

Шаг за шагом.

Медленно. Тяжело. С остановками.

Я был мокрый от пота, колени дрожали, сердце колотилось как молот. Но когда мы дошли, она сказала:

— Смотрите.

Я поднял голову.

За окном стояла поздняя осень. Голые ветви чернели на фоне бледного неба. Во дворе больницы дворник сметал листья в мокрые кучки. Какая-то женщина в темном пальто быстро шла к выходу, придерживая платок на голове. На лавке сидел старик с палочкой и курил, запрокинув лицо кверху.

Обычная жизнь. Та, которая все это время шла без меня.

И вдруг я понял, что смотрю на нее уже не как на чужую. Я еще не вернулся в нее, но уже тянулся обратно.

— Я выйду, — тихо сказал я.

Голос все еще был слабым, но слова прозвучали отчетливо. Анна Игоревна взглянула на меня.

— Да, — сказала она. — Если не бросите работу — выйдете.

Я держался за ходунки и смотрел в окно. Впервые с момента пробуждения будущее перестало быть пустой черной стеной. Оно все еще было страшным, неясным, одиноким. В нем не было дома, не было семьи, не было прежней жизни.

Но в нем был я.

И этого, может быть, действительно могло хватить, чтобы начать сначала.

В тот вечер я долго не мог уснуть.

Я лежал, чувствуя ломоту в ногах, тяжесть в руках, усталость во всем теле, и все же это была правильная усталость. Не боль беспомощности, а боль работы. Перед сном я мысленно произнес имена своих детей.

Кирилл.

Егор.

Катерина.

Раньше при этих именах внутри сразу поднималась только рана. Теперь к ней примешалось что-то еще — холодное, ясное. Я больше не хотел умереть с вопросом «почему?» Я хотел дожить до дня, когда смогу посмотреть каждому из них в глаза.

Но для этого сначала надо было сделать еще одно простое дело.

Встать завтра утром.

И снова начать сначала: сесть, подняться, сделать шаг, сказать «еще». Потому что жизнь, как выяснилось, иногда возвращается не большим чудом, а тысячью маленьких, мучительных повторений. И если такова была цена моего возвращения — я собирался ее заплатить.

Глава 3

День, когда мне впервые разрешили пройти несколько шагов без поддержки санитаров, начался обыкновенно. Так же, как десятки других дней до него.

С утра меня разбудила медсестра, измерила давление, помогла умыться, принесла завтрак. Потом пришла Анна Игоревна с привычной папкой под мышкой, с тем же спокойным лицом, на котором я уже научился различать оттенки настроения лучше, чем на лицах многих близких в прошлой жизни.

Если она входила быстро — значит, сегодня нагрузка будет больше.

Если молча смотрела на меня несколько секунд — значит, что-то задумала.

В тот день она как раз молча посмотрела, и я сразу насторожился.

— Что? — спросил я хрипловатым, но уже вполне понятным голосом.

Говорить я мог гораздо лучше, чем раньше. Голос еще подводил, быстро садился, иногда слова приходилось выталкивать из себя с усилием, но это был уже голос живого человека, а не больничный шелест.

— Сегодня попробуем новое, — сказала она.

Я скривился.

— Когда вы так говорите, мне потом всегда больно.

— Значит, живой, — отрезала она. — Встаем.

Я уже умел вставать с кровати, держась за поручень и за ходунки. Не красиво, не уверенно, но умел. Это больше не было подвигом уровня «выстоять десять секунд». Теперь от меня требовали другого: держать спину, не бояться переноса веса, смотреть вперед, а не себе под ноги, учиться доверять собственным ногам.

Вот с доверием было хуже всего. Тело после двух лет неподвижности не забывает предательства. Оно помнит, что в любой момент может подвести. Что колени могут дрогнуть. Что голова может закружиться. Что мышцы могут в одну секунду сделаться ватными.

Я поднялся, тяжело опираясь на ходунки.

— Хорошо, — сказала Анна Игоревна. — Сегодня по коридору. Как обычно. Но в конце будет сюрприз.

— Я ненавижу ваши сюрпризы.

— А я — ваши жалобы. Идем.

Я медленно двинулся вперед.

Шаг.

Остановиться. Выдохнуть.

Еще шаг.

Подтянуть вторую ногу. Не завалиться.

Не стиснуть ходунки так, чтобы побелели пальцы.

По больничному коридору я уже ходил. Если это вообще можно было назвать ходьбой. Скорее — упрямое продвижение по жизни со скоростью старых настенных часов. Но все равно это было движение.

Мимо дверей палат.

Мимо процедурного кабинета.

Мимо поста медсестер, где на меня уже смотрели не как на чудо из реанимации, а как на человека, который действительно выбрался.

В тот день я дошел до конца коридора, где обычно мы разворачивались и шли обратно. Там, у стены, стояла трость.

Обыкновенная трость. Темная, с резиновой насадкой.

Я сразу все понял и остановился.

— Нет, — сказал я.

— Да, — спокойно ответила Анна Игоревна.

— Рано.

— Уже нет.

— Я упаду.

— Возможно.

Я посмотрел на нее с раздражением.

— Хорошо же вы умеете поддерживать.

— Я не для поддержки здесь, — поморщилась Анна Игоревна, — а для результата.

Эта ее манера выводила меня из себя и в то же время держала на плаву. Она никогда не уговаривала. Не гладила словами. Не прятала трудность за лаской. И именно поэтому, наверное, я ей верил.

— Ходунки пока остаются рядом, — сказала она. — Но несколько шагов попробуете с тростью. Я буду страховать.

Я уставился на эту палку как на личное оскорбление.

Трость означала многое. С одной стороны — прогресс. С другой — признание, что я уже не тот человек, который когда-то мчался по шоссе на своей машине. Человек с тростью — это уже кто-то другой. Более хрупкий. Более медленный. Более заметно сломанный.

— Берите, — сказала Анна Игоревна.

Я взял.

Рукоятка оказалась теплой — видимо, кто-то держал ее до меня. Эта мысль почему-то неприятно кольнула: значит, я не первый здесь, кто учится быть собой заново. И не последний.

— Вес не на трость, — сказала она. — Только помощь равновесию. Смотрите вперед. Не вниз. Я рядом.

— Если я разобьюсь, буду вас проклинать. А мне бы не хотелось.

— Лучше идите.

Я сделал первый шаг.

Без ходунков мир сразу стал шире и опаснее. Будто между мной и падением исчезла железная преграда. Пол качнулся, ноги напряглись, плечи свело. Я почти физически ощущал, как страх ползет вверх по спине.

— Не зажимайтесь, — сказала Анна Игоревна. — Вы сами себе мешаете.

Легко сказать.

Я сделал второй шаг. Третий.

Трость тихо стучала о линолеум. Сердце колотилось так, будто я не шел, а прыгал над пропастью.

— Хорошо, — услышал я ее голос. — Еще два.

— Хватит...

— Еще два.

Я стиснул зубы и пошел.

Пять шагов.

Пять жалких, осторожных, некрасивых шагов, после которых я весь дрожал, будто прошел полгорода.

Но я сделал их сам.

Сам.

Когда мне снова дали опереться на ходунки, я не сразу поднял глаза. Не хотел, чтобы она увидела, что у меня опять блестят глаза из-за такой, казалось бы, ерунды.

Анна Игоревна, конечно, увидела. Но, как всегда, сделала вид, что ничего особенного.

— Неплохо, — сказала она. — Через неделю будете ругаться, что трость неудобная.

— Я уже ругаюсь.

— Значит, идем по плану.

После этого дня все словно ускорилося. Не в смысле легко — нет. Легче не стало. Просто работа перешла в другую фазу.

Теперь каждый день был не про выживание в палате, а про возвращение в мир.

Меня учили самому одеваться.

Сначала это оказалось почти таким же мучением, как первые шаги. Пуговицы не слушались. Пальцы уставали. Носок натянуть на ступню было целой борьбой, после которой я сидел, тяжело дыша и злясь на весь свет.

— Не помогать, — говорил я медсестре, если она пыталась вмешаться.

Порой мне хотелось швырнуть рубашку на пол, послать все к черту, лечь и не двигаться. Но в такие минуты я вспоминал слова Анны Игоревны: если сейчас сдамся, сам отдам им все остальное.

Нет.

Не отдам.

Потом меня учили самостоятельно умываться над раковиной. Бриться. Держать кружку одной рукой. Подниматься со стула без посторонней помощи. Проходить несколько метров по палате, потом по коридору, потом обратно.

Маленькие действия складывались в новый каркас жизни.

И я начал замечать, что больница больше не кажется мне только тюрьмой. Она стала чем-то вроде перевалочного пункта между двумя жизнями. Там, позади, остался человек, который считал силу естественной. Впереди был другой — осторожный, надломленный, но куда более внимательный к каждой мелочи.

Однажды утром я сам дошел до окна в палате раньше, чем пришла Анна Игоревна. Это было всего несколько шагов с тростью. Я дошел, положил ладонь на подоконник и несколько секунд просто стоял, глядя на улицу. Дышал. Держал равновесие. Не падал.

Когда она вошла и увидела меня у окна, то остановилась на пороге.

— Сам? — спросила она.

Я обернулся.

— Сам.

Она кивнула.

Всего лишь кивнула.

Но я уже знал цену ее молчаливому одобрению. Вместе с силами возвращался и страх.

Пока я лежал в реанимации, потом в палате, жизнь была сужена до боли, упражнений, еды, сна и следующего дня. Все было страшно, но понятно. У каждого часа была задача.

А потом однажды ко мне пришел лечащий врач — тот самый Сергей Павлович — сел на стул возле кровати и сказал:

— Думаю, через две-три недели можно будет готовить вас к выписке.

Я уставился на него.

Еще недавно я отдал бы все, чтобы услышать эти слова. Выписка звучала как победа, как свобода, как доказательство того, что я выжил.

Но в ту секунду я почувствовал не радость.

Пустоту.

— Куда? — спросил я.

Он посмотрел на меня очень внимательно.

Вот в этом одном вопросе и было все: ни дома, ни семьи, ни уверенности, что за дверями больницы меня вообще ждет хоть что-нибудь, кроме казенного коридора другого учреждения.

— Мы обсуждаем варианты, — сказал он осторожно. — Возможно, реабилитационный центр или временное социальное размещение. Вам еще нужна помощь, это понятно. Но острое лечение заканчивается.

Острое лечение заканчивается. А жизнь начинается. И к ней я, как оказалось, был готов хуже, чем к любому упражнению.

В тот день после его ухода я долго сидел на кровати, уставившись в пол.

Анна Игоревна пришла позже, увидела мое лицо и сразу спросила:

— Что случилось?

— Выписка, — сказал я.

Она не удивилась.

— Рано или поздно это должно было прозвучать.

— Я не знаю, куда мне идти.

— Знаю.

Я поднял голову.

Она стояла у стола, перебирая мои бумаги, и говорила спокойно, без лишней жалости:

— Это нормально — бояться выписки. Здесь у вас расписан каждый день. Здесь есть поручни, кнопка вызова, медперсонал, понятные стены. А там — неизвестность. Особенно в вашем положении.

Я усмехнулся без радости.

— В моем положении — хорошее выражение.

— А вы хотели бы плохое?

Я вздохнул.

— Я думал, самое страшное — очнуться. Потом думал — встать. А теперь кажется, самое страшное — выйти отсюда.

— Так и есть, — неожиданно согласилась она. — Для многих это действительно самый трудный момент.

Я посмотрел на нее с удивлением.

— Почему?

— Потому что в больнице человек еще пациент. С ним что-то делают. А после выписки он снова становится автором своей жизни. Даже если жизнь ему досталась плохая.

Я долго молчал.

— А если я не хочу такую жизнь?

— Другой пока нет, — ответила она. — Значит, надо брать эту и делать из нее что получится.

После разговора о выписке я начал работать еще упорнее. Не потому, что во мне вдруг проснулась радость. Наоборот. Мне стало страшно так, что хотелось выиграть у этого страха хоть что-нибудь. Если меня выпишут, я должен хотя бы уметь сам вставать.

Сам дойти до туалета.

Сам одеться.

Сам держать ложку.

Сам открыть дверь.

«Сам» стало главным словом этих дней. Я повторял его про себя на каждом занятии.

Сам поднялся.

Сам дошел.

Сам повернулся.

Сам умылся.

Сам застегнул рубашку, пусть и с третьей попытки.

Сам поднял с пола упавшую трость — и чуть не рухнул следом, но все же поднял.

Однажды Анна Игоревна принесла мне обычную уличную одежду, найденную среди моих вещей. Серые брюки, свитер, старую куртку. Я смотрел на них долго.

Больничная одежда, при всей своей унизости, делала меня частью больницы. Пациентом. Безликим, временным, защищенным от мира хотя бы тем, что от него ничего не требовали.

Своя одежда была уже вызовом.

— Примерьте, — сказала Анна Игоревна.

Я взял свитер. Пальцы невольно задержались на ткани. Не знаю, почему именно это вдруг ударило так сильно. Может быть, потому что вещь была из прошлой жизни. Из той, где у меня был шкаф, дом, дорога, семья, планы на вечер и никакой мысли о том, как правильно перенести вес с одной ослабевшей ноги на другую.

Я медленно натянул свитер через голову. Запутался. Разозлился. Выпростал одну руку, потом вторую. Сел, тяжело дыша.

— Ну вот, — сказала она. — Уже не больной, а человек.

Я усмехнулся.

— Спасибо. Очень вовремя.

— А я никогда не говорила, что умею подбирать красивые фразы.

Но в тот день, увидев себя в маленьком зеркале над раковиной — худого, осунувшегося, постаревшего, с тростью и в собственной одежде, — я вдруг впервые по-настоящему понял: да, это я. Другой, сломанный, но я.

Не тень на больничной койке.

Не тело из реанимации.

Я.

Первый по-настоящему самостоятельный проход по коридору произошел почти случайно. Анна Игоревна задерживалась. Медсестра сказала, что она будет через десять минут. Я уже был одет, сидел на кровати, трость стояла рядом.

Обычно я ждал.

А в тот день — нет.

Не знаю, что на меня нашло. Может быть, устал от ожидания. Может быть, захотел проверить, чего стою без ее взгляда, без постоянного «держите спину», «не торопитесь», «еще шаг».

Я взял трость и поднялся. Медленно. Осторожно.

Проверил равновесие. Сделал шаг.

Потом еще.

Вышел из палаты.

Коридор показался длиннее обычного. Без сопровождения он сразу стал чужим и серьезным, как улица. Но я шел.

Трость — шаг.

Левая нога.

Правая.

Пауза.

Еще.

Мимо поста медсестер одна из женщин подняла голову, увидела меня и уже хотела было вскочить, но я остановил ее взглядом.

Не надо. Я сам.

Так я дошел почти до окна в конце коридора, когда появилась Анна Игоревна.

Она быстро шла навстречу, явно готовая меня отругать. Но, увидев, что я не валюсь, не паникую, а просто иду — тяжело, медленно, но сам — замедлилась.

Мы встретились почти посередине.

— И что это такое? — спросила она строго.

Я тяжело выдохнул.

— Нарушение режима.

— Еще какое.

— Зато... своими ногами.

Она смотрела на меня несколько секунд. Потом сказала:

— Ладно. Засчитываю. Но в следующий раз хотя бы предупреждайте.

Я улыбнулся.

— Значит, следующий раз будет?

Она фыркнула.

— Самоуверенность — хороший признак.

До окна я дошел уже при ней. Но это не имело значения. Главное случилось раньше. Я прошел коридор сам. Именно в тот день я впервые всерьез поверил, что когда-нибудь действительно выйду за больничные двери.

Подготовка к выписке оказалась не только физической. Приходила женщина из социальной службы. Задавала вопросы. Есть ли родственники. Есть ли кому помочь. Есть ли документы. Есть ли имущество. Есть ли возможность временного размещения после больницы.

Каждый такой разговор был похож на тихое административное вскрытие моей жизни.

Нет, родственники не участвуют.

Нет, жилья в прежнем виде нет.

Нет, уверенности в дальнейшей поддержке нет.

Да, пациент нуждается в сопровождении и последующей реабилитации.

Да, вопрос сложный.

Слово «сложный» я возненавидел.

Оно произносилось всегда одинаково: вежливо, отстраненно, безлично. Как будто речь шла не о человеке, а о неудачно заполненном бланке.

После одного такого разговора я спросил Сергея Павловича:

— Скажите честно. Если бы я не очнулся, всем было бы проще?

Он не сразу ответил.

— Да, — сказал он наконец. — Проще. Но не лучше.

Я усмехнулся.

— Для кого как.

— Для вас — точно не лучше.

С этим трудно было спорить.

За несколько дней до предполагаемой выписки Анна Игоревна устроила мне последнее большое испытание.

— Сегодня учимся спускаться по лестнице, — сказала она.

Я посмотрел на нее как на сумасшедшую.

— Зачем?

— Затем, что в мире не везде есть удобные пандусы и лифты.

— Я еще по ровному полу хожу как пьяный.

— А теперь будете ходить еще и по ступенькам.

Лестница оказалась страшнее коридора.

Вверх я еще кое-как мог представить движение. Но вниз... вниз тело не верило. Каждая ступень казалась отдельным риском.

— Трость и перила, — говорила Анна Игоревна. — Не торопиться. Чувствовать ногу. Не смотреть на все сразу, только на следующую ступень.

Я спустился три ступеньки — и вспотел сильнее, чем после целого круга по коридору.

— Еще, — сказала она.

— Ненавижу вас, — пробормотал я.

— Отлично. Это дает энергию.

К концу пролета ноги дрожали так, что я уже почти их не чувствовал. Но, когда мы остановились на площадке, меня вдруг охватило странное, почти забытое чувство.

Не благодарность даже. Уважение к себе.

Я делал то, чего не мог еще месяц назад даже вообразить. Человек очень долго живет воспоминанием о том, кем был. Но в какой-то момент ему приходится решить, уважает ли он того, кем становится.

На лестничной площадке я впервые ответил себе: да.

Пусть медленно. Пусть с тростью. Пусть через боль.

Но да.

Вечером накануне выписки — точнее, накануне перевода в реабилитационный центр, который должен был стать следующим этапом, — я долго сидел у окна в палате.

Небо было низкое, зимнее. За стеклом горели фонари. По двору прошел охранник, на мгновение осветив дорожку фонариком. Из соседней палаты доносился кашель. Где-то звякнула тележка.

Я смотрел на все это и понимал, что странным образом привязался к этим стенам.

Здесь я открыл глаза в чужом времени.

Здесь узнал о предательстве.

Здесь впервые снова сел.

Встал.

Сказал слово.

Сделал шаг.

Здесь меня собрали заново по частям.

Утром пришла Анна Игоревна без папки.

Это меня даже тронуло.

— Ну что, Глеб Валентинович, — сказала она, присев на край стула. — Бойтесь?

— Очень.

— Правильно делаете.

Я усмехнулся.

— От вас никогда не дождешься: «Все будет хорошо».

— Потому что не знаю, будет ли хорошо, — честно ответила она. — Но знаю, что вы справитесь с тем, что будет.

Я смотрел на нее долго.

— Если бы не вы...

Она тут же перебила:

— Не надо. Это вы делали сами. Я только не давала вам лениться.

— И ненавидеть себя, — тихо добавил я.

Она на секунду отвела глаза, будто не хотела, чтобы разговор становился слишком личным.

— Иногда это одно и то же, — сказала она. — Когда человек занят делом, ему некогда себя добивать.

Мы помолчали. Потом я спросил:

— А если я снова сломаюсь? Там. После больницы.

— Тогда снова начнете с малого, — ответила она. — Вы это уже умеете.

Я кивнул. Да. Это я действительно теперь умел.

Начинать с малого.

Подняться.

Сесть.

Сделать шаг.

Не умереть от стыда, боли, страха.

И сделать еще один.

Когда меня вывезли из отделения с сумкой вещей и документами на коленях, я попросил:

— Подождите.

Санитар остановился.

Я взял трость, медленно поднялся с кресла и встал сам.

Прямо посреди коридора.

Анна Игоревна стояла рядом и молчала.

Сергей Павлович вышел из ординаторской, увидел меня и слегка улыбнулся. А я просто постоял несколько секунд на собственных ногах, оглядывая этот коридор, в котором когда-то сделал свои первые беспомощные шаги.

Потом сказал:

— Ну что ж. Пойдем.

И пошел.

Медленно.

С тростью.

Неуверенно.

Но уже не как человек, которого везут по жизни, а как тот, кто, сколько бы у него ни отняли, все-таки еще способен идти сам.

Глава 4

Дорога до реабилитационного центра заняла меньше часа. Но для меня это было почти как переезд в другую страну.

Я сидел на заднем сиденье санитарной машины, держал на коленях небольшую сумку с вещами и смотрел в окно, от которого не мог оторваться. Город был все тот же — и уже совсем другой. За два года он успел стать чужим. На перекрестках появились новые вывески, где-то строились дома, которых я не помнил, мимо проносились машины незнакомых мне моделей. Люди шли по своим делам, не подозревая, что для одного человека за этим стеклом мир только что включили заново.

Я ловил взглядом каждую мелочь: киоск у остановки, женщину с авоськой, мальчишку в яркой куртке, лужи на обочине, автобус с запотевшими окнами. Все это казалось одновременно обыкновенным и почти невыносимо драгоценным.

Живой мир.

Не палата. Не коридор. Не потолок.

И чем дальше мы ехали, тем сильнее во мне росло тревожное чувство: в больнице я уже знал, как жить. Там была кровать, режим, упражнения, люди, которые понимали, что со мной делать. А здесь все снова начиналось с неизвестности.

Реабилитационный центр оказался в старом двухэтажном здании на окраине города. Когда-то, по виду, это, наверное, был ведомственный санаторий или небольшой дом отдыха. Теперь фасад облупился, ступени у входа потерлись, а над дверью висела простая табличка с

названием учреждения. Во дворе стояли лавки, несколько голых деревьев и старая беседка с облезшей зеленой краской.

Я посмотрел на здание и почувствовал странное смешение надежды и разочарования. Почему-то в глубине души я ждал чего-то более... нового. Светлого. Современного. Как будто место, где человек учится жить сначала, обязано выглядеть торжественно.

Но нет.

Обычное, немного усталое здание. Такое же упрямое, как те, кто в него попадает.

Меня встретила дежурная медсестра — плотная женщина с быстрыми руками и простуженным голосом. Она проверила бумаги, коротко кивнула санитару и сказала:

— Ну что, Глеб Валентинович, будем осваиваться.

Осваиваться.

Слово было правильное, но звучало тяжело. Как будто мне предлагали не помощь, а очередной этап приспособления к утрате.

Комната у меня была на двоих. У окна стояла еще одна кровать — застеленная, но пустая. У стены тумбочка, маленький шкаф, стол. Все простое, добротное, безликое. Не больница, но и не дом.

Я медленно прошел до своей кровати с тростью, сел и огляделся.

«— Вот и все, — подумал я. — Теперь это моя жизнь».

Не в смысле навсегда — я еще не знал, сколько здесь пробуду, — но именно здесь мне предстояло решить, останусь ли я человеком, который только выжил, или стану человеком, который сумел вернуться.

Первые дни в центре были странными.

Здесь было больше свободы, чем в больнице, и от этого мне становилось не легче, а тревожнее. Никто не заходил каждый час проверить давление. Никто не вел меня за руку по минутам. У каждого пациента был свой график: гимнастика, массаж, занятия с инструктором, физиотерапия, логопед, если нужно, консультации врача. Между этим всем оставались промежутки времени, которые надо было чем-то заполнять самому.

Вот эти промежутки и оказались труднее всего. В больнице я жил от упражнения до упражнения. Здесь между ними вдруг появлялась пустота, в которую сразу лезли мысли.

О детях.

О доме.

О том, что будет потом.

О том, что даже если я восстановлюсь физически, к прежней жизни уже не вернуть.

В первый же вечер ко мне подсел сосед по комнате — сухой, седой мужчина лет шестидесяти с перебитым когда-то носом и внимательными глазами.

— Николай Степанович, — представился он. — После инсульта. Второй месяц тут мучаюсь. А вы?

— После комы, — ответил я.

Он присвистнул тихо, почти уважительно.

— Это вы, значит, тот самый? Про которого уже слышали.

Я поморщился.

— Уже слышали?

— Здесь быстро все слышат, — сказал он. — Место такое. Кто пришел, кто ушел, кто заплакал в коридоре, кто научился сам шнурки завязывать — все известно.

Он сказал это без насмешки. Даже с какой-то теплотой. И я вдруг понял, что здесь, в этом усталом здании, люди живут не только своей болью, но и чужими маленькими победами.

— Ну ничего, — добавил Николай Степанович. — Здесь народ разный, но втягиваешься. Главное — не жалеть себя вслух. Жалость заразная.

Я посмотрел на него внимательнее.

— А вы себя не жалеете?

Он усмехнулся.

— Жалею. Только по расписанию. Перед сном минут десять. Потом надоедает.

И впервые за долгое время я невольно хмыкнул.

Занятия здесь были жестче, чем в больнице.

В больнице меня поднимали с нуля. Здесь исходили из того, что я уже должен работать на результат.

Утром — лечебная физкультура в маленьком зале с поручнями вдоль стен и большими мячами в углу. Потом ходьба. Потом упражнения на равновесие. Потом работа с мелкой моторикой. Иногда массаж, после которого тело гудело, словно его разбирали и собирали заново. Иногда занятия на лестнице. Иногда — просто длинный, упрямый проход по коридору под наблюдением инструктора.

Инструктора звали Олег. Молодой, коротко стриженный, сухощавый, с вечным видом человека, которому бесполезно жаловаться.

— Не заваливайтесь вправо, — говорил он.

— Я и так стараюсь.

— Вижу. Старайтесь лучше.

— У вас все просто.

— У меня — да. У вас сложнее. Потому и работаем.

Он чем-то напоминал мне Анну Игоревну, только был резче и менее тактичен. Но, как ни странно, это тоже помогало. После его сухих замечаний не оставалось места для красивого страдания. Либо делаешь, либо нет.

Каждый день я проходил чуть больше.

Иногда всего на два шага.

Иногда на пять.

Иногда мне казалось, что не продвинулся ни на сантиметр, пока вдруг не замечал: уже сам спускаюсь к столовой, уже могу сесть без долгой подготовки, уже не думаю каждую секунду о том, как именно переставить ногу.

Тело медленно, нехотя, но начинало ко мне возвращаться.

Самым трудным было не физическое.

Физическое хотя бы подчинялось логике: упражнение — усталость — боль — повторение — маленький результат. А вот жизнь вне упражнений логике не подчинялась.

Однажды мне выдали мои документы — те, что удалось восстановить и собрать. Паспорт, медицинские выписки, несколько справок, временное удостоверение по социальному сопровождению.

Я долго смотрел на свой паспорт. Фотография в нем была из прежнего мира. Там я еще стоял прямо, уверенно, с полным лицом и взглядом человека, у которого есть маршрут. Я даже не сразу узнал себя.

Николай Степанович, сидя на своей кровати, заметил мой взгляд.

— Тяжело? — спросил он.

— Словно это не я, — произнес я.

Он кивнул.

— У меня после инсульта тоже так было. Думаешь: вот он, я. А потом пытаешься кружку поднять двумя пальцами — и понимаешь, что тот «я» остался где-то позади. Потом привыкаешь.

— К чему?

— К тому, что человек — не фотография, — ответил он. — И даже не память о себе. Человек — это тот, кто есть сегодня. Остальное — архив.

Эти слова засели во мне надолго.

Архив.

Раньше я жил только им. Тем, кем был до аварии. Отцом троих детей. Хозяином дома. Человеком на машине, в костюме, по пути на свадьбу сына.

Но архив не умеет поднять тебя утром с кровати. Не умеет пройти коридор. Не умеет решить, что делать дальше. Это должен делать тот, кто остался.

Постепенно у меня появился режим, который уже не был навязан извне, а становился моим собственным.

Я просыпался раньше подъема. Садился на кровать, некоторое время собирался с силами.

Потом сам умывался, брился — теперь уже почти без дрожи в руках. Медленно одевался. Иногда садился отдохнуть на середине процесса, но все равно одевался сам.

После завтрака шел на занятия.

После обеда старался не лежать, даже если хотелось. Или сидел у окна, или проходил лишний круг по коридору, или тренировал пальцы — застегивал и расстегивал пуговицы, пере-кладывал мелкие предметы, писал буквы в тетради, которую мне выдали для разработки руки.

Почерк у меня сначала был почти детский: кривой, ломающийся, неуверенный.

Я написал свое имя.

Потом фамилию.

Потом имена детей.

На этом рука остановилась.

Я долго смотрел на эти слова, коряво выведенные в тетради, и чувствовал, что внутри уже нет прежней слепой боли. Осталось другое — холодное, сосредоточенное чувство. Мне нужно было не просто вспоминать. Мне нужно было понять, что делать с этой памятью дальше.

В тот день я перевернул страницу и начал писать список того, что у меня еще есть.

Имя.

Документы.

Тело, которое пусть плохо, но слушается все лучше.

Ум.

Память.

Право решать, как жить дальше.

Когда я дошел до последнего пункта, мне стало немного легче. Иногда человеку надо увидеть остатки своей жизни на бумаге, чтобы понять: это не только потери. Это еще и материал.

Пусть скудный, но материал.

Первый раз во двор я вышел почти через две недели после прибытия в центр. До этого мы занимались только внутри, а на улицу меня не выпускали: скользко, холодно, рано. Но в одно сухое, бледное утро Олег сказал:

— Сегодня пойдем наружу. Надо привыкать к настоящей поверхности.

Настоящая поверхность оказалась куда опаснее больничного линолеума. Асфальт был неровный, местами в мелких трещинах. На дорожках лежали мокрые листья. Ветер сразу ударил в лицо, и от этого я почувствовал себя еще менее устойчиво. Но вместе с тревогой пришло и что-то другое — почти забытое ощущение свободы.

Воздух.

Настоящий, холодный, уличный.

Не из форточки. Не из коридора.

Я остановился на дорожке и вдохнул глубже, чем следовало. Голова чуть закружилась.

— Не геройствуйте, — заметил Олег. — Идите спокойно.

Я пошел.

Медленно.

С тростью.

С чувством, будто каждый шаг по асфальту — это отдельное соглашение с миром: да, я еще здесь, да, земля подо мной настоящая, да, я имею право идти по ней сам.

Когда мы сделали круг по двору и вернулись к крыльцу, я устал так, будто преодолел полстраны. Но в тот день вечером я впервые спал спокойно.

Не потому, что стало не больно. А потому, что я вышел наружу и не исчез.

В центре люди приходили и уходили.

Кого-то выписывали домой.

Кого-то забирали родственники.

Кто-то переводился дальше.

Каждый такой отъезд отзывался во мне двойным чувством. Я радовался за человека — и одновременно ощущал укол одиночества. У многих, как бы тяжело им ни было, кто-то все же оставался: жена, брат, дочь, сосед, внучка. Кто-то привозил теплые носки, домашнюю еду, газеты, приносил фотографии, ругался с врачами, спорил, заботился.

Ко мне никто не приходил.

Сначала я делал вид, что мне все равно. Потом перестал.

Однажды Николай Степанович вернулся после свидания с племянницей — она привезла ему яблоки и шерстяной жилет — и, раскладывая вещи, вдруг спросил:

— Вы им писать не пробовали?

Я понял, о ком речь.

— Нет.

— Почему?

Я пожал плечами.

— Не знаю, хочу ли.

— Это разные вещи, — заметил он. — «Хочу ли» и «надо ли».

— А вы бы написали?

Он подумал.

— Я бы сначала встал покрепче на ноги. Не из гордости. Просто чтобы не просить о жизни у тех, кто однажды уже от нее отказался.

Я долго потом думал над этими словами. Наверное, именно тогда во мне впервые созрело решение: сначала я должен стать способным жить без них. И только потом — если вообще захочу — искать ответы.

К весне я уже ходил по коридору без постоянного сопровождения.

Не быстро, но уверенно.

Трость все еще оставалась при мне, однако я перестал воспринимать ее как унижение. Она стала инструментом, как очки или костыль для перелома: не знаком поражения, а способом продолжать путь.

Я сам ходил в столовую.

Сам разбирал свои вещи.

Сам мог застелить кровать, пусть и медленно.

Сам спускался по лестнице, придерживаясь за перила.

Сам мыл за собой чашку.

Человек, который когда-то считал подобные действия пустяком, теперь видел в них почти архитектуру новой жизни. Дом строится не сразу. Сначала у него появляются стены, потом пол, потом крыша. Вот и я строил себя из простых, повторяемых движений.

Иногда этот новый человек мне даже нравился больше прежнего. Прежний много чего принимал как должное.

Этот — нет.

Однажды вечером я снова открыл тетрадь и написал на чистой странице: что дальше?

И начал отвечать.

Найти временное жилье после центра.

Добиться оформления положенной помощи.

Понять, что осталось от имущества и документов.

Решить, нужно ли искать детей сейчас.

Найти работу — любую, какую позволит состояние.

Когда я написал последнее слово, сам себе не поверил.

Работу?

Еще недавно я радовался тому, что могу сам надеть носок. А теперь уже думаю о работе? Но эта мысль не показалась мне безумной. Скорее — необходимой. Пока человек нужен хоть какому-нибудь делу, он держится иначе.

Я сидел над этим списком долго, чувствуя не радость, а сосредоточенность. Так, наверное, чувствует себя человек после пожара, когда стоит на месте сгоревшего дома и прикидывает, с чего начинать разбор завалов. Не потому, что ему легко. А потому, что иначе нельзя.

Случился и день, который я потом запомнил надолго.

В центре была маленькая библиотека — несколько старых шкафов с потрепанными книгами, газетами и журналами. Я заходил туда раньше только чтобы осмотреться: мне нравился запах бумаги. В тот день библиотекарша — сухонькая женщина с очень прямой спиной — попросила меня помочь перенести несколько книг со стола на нижнюю полку.

— Если вам не трудно, — сказала она.

Это была такая мелочь, что любой здоровый человек даже не заметил бы ее.

А я замер. Помочь?

Не мне помогают.

Я — помочь?

Наверное, она не вкладывала в это ничего особенного. Просто видела, что я уже хожу и могу осторожно нагнуться. Но для меня эта просьба прозвучала почти как возвращение имени.

Я медленно подошел, взял стопку из двух книг, присел неловко, поставил их на полку и выпрямился, держась за край стеллажа.

— Спасибо, — сказала библиотекарша.

Я кивнул и вдруг почувствовал, как внутри что-то сместилось.

Очень немного. Но важно.

Пока человек может быть кому-то полезен хотя бы в такой мелочи, он уже не только объект ухода. Он снова участвует в мире.

Вечером я сказал об этом Николаю Степановичу.

Тот усмехнулся:

— Ну вот. Поздравляю. Начинаете возвращаться из категории «тяжелый случай» в категорию «человек».

— А вы давно вернулись?

— Я? — Он задумался. — Да не знаю. Наверное, в тот день, когда сам починил себе кнопку на рубашке. Глупость, конечно, но я тогда понял: еще могу что-то, кроме страдать.

Это была очень точная фраза.

Кроме страдать.

Да. Именно это со мной и происходило. Я учился жить не только в боли, обиде и утрате. Я учился существовать без них.

К концу второго месяца в центре меня уже знали почти все.

Кто-то здоровался в коридоре. Кто-то просил подать стул.

Санитарка тетя Валя называла меня «упрямцем» и ругалась, если я слишком много делал без отдыха. Олег по-прежнему был сух и требователен, но однажды после хорошего занятия сказал:

— Неплохо. Еще немного — и будете ругаться, что вас недооценивали.

— Я уже ругаюсь, — ответил я.

— Вот поэтому и выкарабкались.

Я понял, что в этом странном месте, полном тростей, шрамов, дрожащих рук, запинаящихся речей и чужих биографий, у меня постепенно появляется нечто похожее на опору.

Не семья. Не дом. Но среда, в которой меня уже не воспринимали как безнадежное тело с кровати. Здесь я был Глеб Валентинович — тот, кто был в коме.

Тот, кто встал.

Тот, кто много молчит, но работает.

Тот, кто может сам дойти до двора и обратно.

Тот, кто однажды, может быть, уйдет отсюда уже не как брошенный пациент, а как человек с собственным планом.

И впервые за все это время я начал думать о будущем не только как о выживании, но и как о жизни. Пусть бедной и трудной, пусть с тростью, чужой комнатой и неизвестностью, но жизни.

В тот вечер я снова сел у окна и долго смотрел, как во дворе рано темнеет снег. Да, снег ещё выпадал — крупный, рыхлый, неуверенный, словно сам еще не решил, оставаться ему или таять. Люди внизу шли осторожнее, чем раньше. Дворник скреб лопатой дорожку. На крыльце кто-то смеялся.

Я положил ладонь на подоконник и впервые за долгое время поймал себя на мысли, что не жду чуда.

Не жду, что кто-то вдруг позвонит, придет, все объяснит и вернет на место.

Не жду, что прежняя жизнь окажется дурным сном.

Не жду, что боль сама пройдет.

Я ждал другого.

Следующего дня.

Следующего шага.

Следующего маленького дела, которое снова сделаю сам.

И в этой скромной, почти незаметной надежде было больше правды, чем во всех утешениях, которые можно было бы мне придумать.

Я еще не знал, как именно построю новую жизнь. Но уже понимал главное: ее придется строить не на том, что у меня отняли, а на том, что во мне осталось.

И, может быть, этого остатка было не так уж мало.

Глава 5

Разрешение выйти в город одному я получил не сразу. Сначала были только прогулки по двору центра. Потом — до калитки и обратно. Потом — с инструктором до ближайшего магазина, где я больше смотрел под ноги, чем по сторонам, и почти не запомнил ни улицу, ни витрины, ни людей.

А потом однажды Олег сказал:

— На этой неделе попробуете сами.

Я даже не сразу понял.

— Куда?

— Для начала — недалеко. Аптека, магазин, почта, парк через дорогу — куда захотите.

Смысл не в месте. Смысл в том, чтобы вы вышли один и вернулись тоже один.

Я молчал.

Он стоял, как всегда, с руками в карманах спортивной куртки, будто говорил о чем-то самом обыденном.

— Что? — спросил он.

— Ничего.

— Боишься?

— Да.

— Хорошо. Значит, не полезешь геройствовать.

Это была его манера: любую драму обрезать до полезного размера. И все же после разговора с ним меня трясло почти весь день. Я боялся не дороги. Не того, что упаду. Не того даже, что станет плохо. Я боялся остаться с городом один на один и увидеть, как мало в нем для меня осталось места.

В больнице и в центре я был человеком в процессе восстановления. Там мое состояние что-то значило. Там у слабости было оправдание и контекст. Там все понимали, почему я иду медленно, почему держусь за перила, почему устаю от десяти ступенек так, будто разгружал вагоны.

А в городе я должен был стать просто человеком среди других людей.

Не пациентом.

Не случаем.

Не историей.

Просто мужчиной с тростью, который слишком долго стоит у бордюра и слишком медленно достает кошелек. И это почему-то казалось почти невыносимым.

Я выбрал субботнее утро.

Не рано, чтобы не попасть в пустой город, где слишком слышны собственные шаги, и не слишком поздно, чтобы не утонуть в толпе. Небо было серым, воздух — сырым, но без ветра. Самое обыкновенное утро. Именно таким, наверное, оно и должно было быть.

Не торжественным.

Не символическим.

Просто днем, когда человек выходит за калитку и идет проверять, может ли еще принадлежать миру.

Я одевался дольше обычного. Слишком тщательно.

Свитер, куртка, шарф. Проверил документы. Деньги. Телефон, который мне помогли оформить в центре — простой, кнопочный, с двумя номерами на быстром наборе: пост дежурной и Олег. Таблетки в карман. Еще раз документы. Еще раз деньги.

Николай Степанович наблюдал за мной со своей кровати и наконец не выдержал:

— Вы на Северный полюс, что ли, собрались?

— Почти, — сказал я.

Он посмотрел внимательно, понял и кивнул.

— Первый раз одному?

— Да.

— Ну тогда все правильно. В первый раз человек всегда берет с собой больше, чем нужно.

Как будто лишние вещи могут заменить уверенность.

Я слабо усмехнулся.

— А вы помните свой первый выход?

— Конечно. Я до булочной дошел и обратно, а потом лежал два часа, как после фронта.

Но зато сам.

Он помолчал и добавил:

— Только не ставьте себе задачи стать прежним. Идите просто как нынешний. Так легче.

Я запомнил это. Очень запомнил.

Не как прежний.

Как нынешний.

У калитки центра я остановился. Вот тут, в сущности, и проходила настоящая граница.

Позади — знакомое пространство, где меня знали по имени, где в любой момент можно было вернуться, сесть, перевести дух, попросить помощи. Впереди — тротуар, остановка, машины, прохожие, витрины, чужая скорость.

Я крепче взял трость.

Сделал шаг.

Потом еще один.

И вышел.

Первые метры дались тяжелее, чем я ожидал. Не физически — психологически. Я сразу почувствовал себя заметным. Казалось, все видят мою неловкость, мою осторожность, мое неумение быть обычным. Молодая женщина с коляской обошла меня слева. Двое подростков проскочили мимо, не глядя. Мужчина в пуховике на ходу говорил по телефону и чуть не задел меня плечом.

И тут случилось первое неожиданное: никто не смотрел. Никому не было до меня дела. Город не застыл, не заметил, не проявил уважения к моему подвигу. Ему было все равно. Это одновременно укололо и почему-то успокоило. Мир не ждал меня обратно. Но и не выталкивал. Он просто шел своим ходом. Значит, и мне придется встраиваться в этот ход без особых церемоний.

Я дошел до угла квартала и остановился перевести дыхание. Справа была аптека. Чуть дальше — маленький продуктовый. Я заранее решил, что зайду в аптеку: куплю самые простые вещи — пластырь, салфетки, может быть, зубную пасту. Не потому, что они были срочно нужны, а потому, что мне требовалось выполнить обычное действие обычного человека.

Зайти.

Выбрать.

Заплатить.

Выйти.

Ничего героического. Именно поэтому это было так трудно.

Дверь в аптеку оказалась тяжелее, чем я думал.

Я потянул ее на себя, одновременно пытаюсь удержать равновесие, и на секунду почувствовал злость — на дверь, на трость, на собственное тело, на то, что даже вход требует расчета. Но дверь все же поддалась, и я вошел. Над головой звякнул колокольчик.

Внутри было тепло, пахло лекарствами и влажной одеждой посетителей. У окна стояла пожилая женщина в беретке и долго выбирала что-то по списку. За ней — молодой парень в черной куртке, явно раздраженный ожиданием. Я встал третьим.

И вот тут на меня навалилось второе испытание — очередь. Казалось бы, что может быть проще: стой и жди. Но я не мог стоять долго спокойно. Нога начинала уставать, спина напрягалась, рука на трости немела. И вместе с этим росло знакомое чувство унижения: сейчас всем станет видно, как тяжело мне дается то, чего другие даже не замечают.

Я переступил с ноги на ногу.

Потом еще раз.

Парень впереди мельком оглянулся на меня, скользнул взглядом по трости и вдруг молча отступил в сторону.

— Проходите, — сказал он.

Я даже не сразу понял.

— Нет, ничего, я подожду.

— Проходите, — повторил он уже с легким раздражением, будто не делал доброго дела, а просто решал очевидную задачу.

Я прошел.

И почему-то именно эта сухая, почти неловкая уступка тронула меня сильнее, чем какие-нибудь громкие слова поддержки.

Провизор — девушка лет тридцати с усталым лицом — спросила:

— Что вам?

И я вдруг растерялся.

Не потому, что не знал, что купить. А потому, что от простого вопроса «что вам?» внутри внезапно открылась пустота. Как будто мне задавали его не в аптеке, а вообще в жизни.

Что вам?

Дом?

Детей?

Объяснение?

Старое тело?

Прошлое имя?

Прежнего себя?

Я моргнул и сказал первое, что вспомнил:

— Зубную пасту. И... пластыри. Обычные.

Девушка кивнула, повернулась к полкам, а я стоял у прилавка и чувствовал, как бешено колотится сердце от этой ерунды. От того, что я сам пришел. Сам выбрал. Сам говорю.

Когда она назвала сумму, я достал деньги слишком медленно. Монеты выскользнули из пальцев, одна упала на пол и укатилась под стойку.

Щеки обожгло.

Вот оно.

То, чего я боялся.

Вот сейчас все и проявится: беспомощность, дрожащие руки, нелепость.

Я уже хотел пробормотать что-то вроде «ничего, не надо», но девушка спокойно наклонилась, достала монету шваброй для уборки, положила на прилавок и сказала:

— Не спешите.

И все.

Без жалости.

Без снисхождения.

Без той особенной интонации, от которой хочется провалиться.

Просто: не спешите.

Я расплатился, убрал покупки в карман пакета и вышел на улицу с чувством, будто сдал какой-то внутренний экзамен.

Не блестяще.

Не красиво.

Но сдал.

На обратном пути я мог бы уже вернуться в центр. По сути, задача была выполнена. Но у перекрестка остановился и понял: нет. Еще рано. Если сейчас вернусь, то весь выход сведется к аптеке и дрожащей руке. Мне нужно было пройти чуть дальше. Хоть немного.

Через дорогу виднелся маленький сквер — несколько скамеек, голые деревья, детская площадка с яркой облезлой горкой, дорожка, посыпанная песком. Я стоял у светофора и смотрел на этот сквер как на другую страну.

Когда загорелся зеленый, люди пошли сразу, быстро, привычно. А я замешкался на секунду — слишком долго прикидывал расстояние, темп, ширину перехода. И тут понял, что медлю. Что если не двинусь сейчас, останусь у края тротуара, как прибитый.

Я шагнул.

Трость — шаг.

Левая нога.

Правая.

Машины ждали.

Я чувствовал их присутствие почти физически — не как угрозу, а как давление времени. Быстрее. Быстрее. Не задерживай. Не мешай.

Но быстрее я не мог.

На середине перехода уже мигнул зеленый, и кто-то позади недовольно цокнул языком. Мелочь.

Пустьяковый звук.

Но он ударил в самое больное место. В то, где до сих пор жила унижительная уверенность, что я теперь всегда для кого-то слишком медленный, слишком тяжелый, слишком неудобный.

Я дошел до другой стороны с каменным лицом и только там позволил себе выдохнуть.

Вот он, город.

Не жестокий специально. Просто нетерпеливый. Ему некогда приспособливаться к моему темпу. Значит, я должен научиться жить в нем таким, какой есть, не требуя, чтобы кто-то замедлялся ради меня.

Это было горькое знание, но честное.

В сквере оказалось тихо. Детей почти не было — только мальчик в синей шапке копался лопаткой в мокром песке, пока его мать сидела в телефоне. На дальней лавке двое пенсионеров спорили о чем-то, кажется, о ценах или политике. Голуби ходили у урны с таким видом, будто давно считают это место своим.

Я дошел до свободной скамейки и сел. Сесть тоже оказалось искусством: сначала правильно повернуться, потом медленно перенести вес, не уронить трость, не завалиться слишком резко. Но я справился. Сел. Положил ладони на колени. И просто остался на месте.

Впервые один в городе.

Не в машине.

Не дома.

Не по делам.

А как человек, который проверяет, может ли выдержать собственную жизнь без сопровождения.

Мимо шли люди. Кто-то смеялся. Кто-то спорил. Девушка в длинном пальто быстро говорила по телефону: «Нет, я сказала, в три, не в пять». Мужчина выгуливал маленькую собаку в красном комбинезоне. У продуктового киоска громко хлопнула дверь. Где-то за деревьями проехал трамвай — этот звук я помнил с детства, и от него вдруг сжалось сердце.

Город жил.

Без меня.

И все же рядом со мной.

Я сидел и постепенно начал понимать такие простые, но важные вещи, от которых сначала стало холодно, а потом — легче: мир не распался из-за моей беды. И не обязан был распасться. Люди не носили в себе мою трагедию, не ходили с оглядкой на мой пропуск во времени, не спрашивали, где я был эти два года. Они просто жили.

И если я хочу вернуться, мне тоже придется жить, а не только помнить, страдать и считать утраты. Именно тут, на сырой скамейке в сквере, эта мысль впервые пришла ко мне не как красивая фраза, а как необходимость.

Потом случилось еще одно маленькое, но важное происшествие. Я уже собирался вставать, когда к скамейке подбежал тот самый мальчик в синей шапке. Наверное, его мячик укатился ко мне под ноги. Он остановился, посмотрел на мою трость и спросил совершенно прямо, без тени смущения:

— А у вас нога сломана?

Я невольно усмехнулся.

— Не совсем.

— А почему тогда палка?

Его мать вскочила со скамейки:

— Артем, нельзя так!

— Ничего, — сказал я. — Можно.

Мальчик ждал ответа серьезно, как ждут дети, когда действительно хотят понять устройство мира. Я посмотрел на трость.

— Потому что мне пока так легче ходить.

Он кивнул, будто получил исчерпывающее объяснение, поднял мяч и тут же спросил:

— А потом без палки будете?

Я помедлил.

— Не знаю. Может быть.

— У моего деда тоже палка, — сообщил он. — Но он ей еще кота гоняет.

Мать окончательно покраснела:

— Артем!

А я вдруг засмеялся. По-настоящему. Не усмехнулся, не выдал вежливый звук, а именно засмеялся — коротко, хрипло, но живо.

Мальчик тут же убежал, довольный собой, а его мать тихо сказала мне:

— Извините.

— Не за что, — ответил я.

И это тоже было правдой. Ребенок не жалел меня. Не смотрел сочувственно. Не отводил глаза. Для него трость была просто палкой, а я — просто человеком, который ходит немного иначе. Может быть, в этом было больше нормальности, чем во всех осторожных взрослых взглядах.

Обратная дорога далась труднее.

Не потому, что стало страшнее, а потому, что силы начали заканчиваться. Нога ныла, поясницу тянуло, ладонь устала держать рукоять трости. Я шел медленнее, чем в начале, и уже без внутреннего пафоса. Просто шел назад, стараясь не сбиться, не оступиться, не переоценить себя.

У продуктового меня обогнала пожилая женщина с сумкой на колесиках. Через пару метров она вдруг обернулась и сказала:

— Мужчина, шарф поправьте, у вас сзади вылез.

Я машинально тронул шею. И опять ничего особенного. Обычная фраза. Как любому прохожему.

Не «бедненький», не «вам помочь?», не «ой, осторожно».

Просто поправьте шарф.

И почему-то от этой бытовой, почти домашней интонации к горлу снова подкатило что-то тяжелое. Мир не только равнодушен. Иногда он еще и неожиданно прост.

В нем есть место не только для толчков, очередей и нетерпения, но и для мелких, незначительных касаний, которые возвращают человеку ощущение, что он все еще среди людей, а не вне их.

Я дошел до калитки центра уже на чистом упрямстве.

На ступеньке остановился. Сделал глубокий вдох. И вдруг понял, что возвращаюсь не разбитый, а изменившийся.

Город не принял меня в объятия. Не признал. Не наградил за мужество.

Он всего лишь позволил мне пройти по своим улицам так же, как проходят тысячи других: неловко, уставши, с покупкой из аптеки в пакете, с раздражающим светофором, с сырым холодом, с чужими голосами вокруг.

И этого оказалось достаточно.

В холле меня первой увидела тетя Валя.

— Ну? — спросила она, оперев руки в бока. — Где были, путешественник?

— В аптеке, — сказал я.

— И все?

Я немного подумал.

— И в городе.

Она фыркнула:

— Тоже мне новость.

Но посмотрела внимательно и, видно, что-то поняла.

— Обедать идите, пока не остыло.

Олег встретил меня позже, уже в коридоре после тихого часа.

— Вернулись, — сказал он.

— Как видите.

— Дошли?

— Дошел.

— Упали?

— Нет.

— Потерялись?

— Не терялся.

— Значит, все в порядке.

Я хотел было ответить что-нибудь колкое, но вдруг сказал совсем другое:

— Там никто меня не ждал.

Он пожал плечами.

— А должен был?

— Нет.

— Ну и хорошо. Значит, в следующий раз пойдете не как человек, которого должны ждать, а как человек, который сам может прийти.

Я смотрел на него несколько секунд.

Потом кивнул. Пожалуй, да. Именно это со мной сегодня и случилось.

Не возвращение в прошлую жизнь. Не победа. Не чудо. А первый самостоятельный приход в мир, который ничего мне не обещал — и все-таки не отверг.

Вечером я сидел у окна в комнате и смотрел, как темнеет двор центра. На тумбочке лежал пакет из аптеки: зубная паста, пластыри, чек. Самые обычные вещи. Смешно было бы назвать их трофеями, но в каком-то смысле они ими и были. Доказательство, что я вышел один, справился с простым делом и вернулся.

Николай Степанович, укладываясь, спросил:

— Ну как?

Я ответил не сразу.

— Тяжело.

— Еще бы.

— Но, кажется... можно.

Он повернулся ко мне:

— Что именно?

Я посмотрел на темное окно, в котором отражался уже не тот человек из паспорта и не тот, что лежал когда-то неподвижно на больничной койке.

— Жить, — сказал я.

Он помолчал и кивнул.

— Ну вот. Значит, не зря ходили.

Я лег позже обычного, уставший до дрожи в мышцах. Но усталость была правильная. Не от бессилия. От дела. Перед сном я подумал о городе.

О светофоре.

О мальчике с мячом.

О парне в аптеке.

О монете, укатившейся под стойку.

О скамейке в сквере.

И вдруг понял, что больше не боюсь самого главного. Не того, что город окажется жестоким. А того, что он окажется для меня навсегда закрыт.

Нет. Не так.

Не закрыт.

Просто в него, как и во всякую новую жизнь, нужно входить медленно: с тростью, с остановками, с дрожью в ногах. Но своими шагами.

Глава 6

После первого самостоятельного выхода в город что-то во мне сдвинулось окончательно. Не резко. Не победно. Просто исчезло ощущение, что жизнь существует где-то за стеклом, а я могу только смотреть на нее изнутри. Теперь я уже знал: до этой жизни можно дойти. Медленно, криво, с остановками, но дойти.

И почти сразу вслед за этим пришла другая мысль — тяжелая, упрямая, безотвязная: мне нужна работа. Не в высоком смысле. Не призвание. Не возвращение в прежний статус. Просто дело, за которое платят деньги. Хоть какие-то. Регулярно. Честно. Чтобы не жить только на помощи, на льготах, на чужих бумагах и редких подачках системы.

Я долго не произносил это вслух. Даже самому себе.

Потому что стоило сказать слово «работа», как рядом сразу вставал второй голос — трезвый, злой, унизительно разумный: какая работа?

Посмотри на себя. Ты ходишь с тростью. Ты быстро устаешь. У тебя дрожит рука, если долго держать что-то на весу. Ты не можешь простоять на ногах полдня. Ты не знаешь, выдержишь ли обычную дорогу туда и обратно. Кому ты нужен такой?

И все же мысль не уходила. Наоборот — крепла. Наверное, именно потому, что звучала почти безнадежно.

Я начал издавать. С объявлений.

В холле центра стояла старая доска с бумажками: «требуется сторож», «нужен подсобный рабочий», «уборщица», «вахтер», «фасовка», «расклейка объявлений», «курьер на полдня», «архивная помощь», «разнорабочий». Большинство объявлений были сорваны, поверх некоторых висели новые, телефоны на отрывных полосках исчезали быстро.

Я останавливался у этой доски по нескольку раз в день, делая вид, что просто читаю. На самом деле я примерял каждую работу на себя.

Сторож? Ночные смены — вряд ли. Да, а если станет плохо?

Подсобный рабочий? Нет. Слишком тяжело физически.

Курьер? Смех. Я через один квартал иду как через испытание.

Фасовка? Может быть.

Вахтер? Если повезет.

Архивная помощь? Тоже, возможно, если не нужна скорость.

Я ловил себя на том, что думаю уже иначе. Не «смогу ли я жить», а «что именно из жизни мне еще доступно». Это было и горько, и по-своему полезно. Раньше я бы обиделся на саму постановку вопроса. Прежний я выбирал бы, что ему интересно, что достойно, что соответствует опыту, возрасту, представлениям о себе. Нынешний я выбирал не из достоинства, а из реальности. И это, как ни странно, было честнее.

Первым, кому я сказал об этом, оказался Николай Степанович.

Он сидел вечером на кровати, в очках, штопал носок — занятие, которое всегда придавало ему вид человека, окончательно помирившегося с жизнью, но не с халтурой.

— Хочу попробовать работу поискать, — сказал я.

Он поднял голову так резко, что очки сползли на кончик носа.

— Уже?

— А что, по-вашему, надо сначала дождаться идеального здоровья?

— Идеального не дождетесь, — сухо сказал он.

— Вот и я о том.

Он отложил носок, снял очки и посмотрел на меня уже серьезнее.

— А какую работу?

— Любую, которую потяну.

— Это неправильный ответ.

— Почему?

— Потому что «любую» человек говорит от отчаяния. А потом соглашается на первое унижение, лишь бы не чувствовать себя лишним.

Я молчал.

Он, как часто, бывало, попал точно в болезненное место. Да, именно это во мне и было: не только нужда в деньгах, но и панический страх остаться человеком, для которого не находится никакого дела.

— Тогда какую? — спросил я.

— Таковую, после которой вы сможете прийти и не свалиться, — сказал он. — Таковую, где вас не сломают за неделю. Таковую, где от вас требуется не делать вид, что вы здоровый, а реально делать то, что можете.

Я усмехнулся.

— Выбор у меня небольшой.

— А у нас сейчас у всех небольшой выбор, — пожал плечами Николай Степанович. — Зато настоящий.

Потом добавил, уже мягче:

— Только не врите работодателю.

— В чем?

— О своем состоянии. Ни преувеличивать, ни скрывать. Жалость — плохо. Но и героизм — еще хуже.

Я кивнул. Это тоже было правильно.

На следующий день я пошел к социальному работнику центра. Ее звали Марина Сергеевна. Невысокая, собранная женщина лет сорока пяти, из тех, кто умеет одновременно заполнять бумаги, разговаривать по телефону и замечать, что у собеседника развязался шнурок. На столе у нее всегда лежали папки, списки, заявления, копии документов, чей-то паспорт, чья-то справка, чья-то судьба.

Она выслушала меня молча.

— Работу? — переспросила она. — Уже сейчас?

— Хочу хотя бы попробовать.

— Хорошо, — сказала она без лишнего удивления. — А что вы умеете?

Вопрос был простой. Но я вдруг растерялся сильнее, чем ожидал.

Что я умею?

Когда-то ответ был бы длинным и уверенным. Я бы перечислил опыт, навыки, должности, ответственность, умение договариваться, организовывать, считать, решать, вести дом, вести дела, держать удар.

А теперь?

Теперь все это существовало где-то в прошлом, как будто не исчезло, но временно перестало быть доказуемым.

— Раньше много чего умел, — сказал я наконец. — Сейчас... могу работать с бумагами. С людьми, наверно, тоже. Считать, заполнять, следить за порядком. Не быстро, но внимательно.

— Компьютер?

— Когда-то — да. Сейчас не знаю, как пойдет.

— Долго на ногах можете?

— Нет.

— Поднимать тяжести?

— Тоже нет.

— Стресс?

Я чуть усмехнулся.

— Смотря какой.

Она впервые улыбнулась.

— Ладно. Это уже честнее.

Марина Сергеевна выдвинула ящик стола, достала потрепанную тетрадь с телефонами и несколько листков.

— Есть варианты, но сразу предупреждаю: хорошие места не ждут. А на нехорошие соглашаться не стоит. Могу попробовать узнать насчет полудневной занятости. Вахта, архив, помощь в маленькой мастерской, приемная, склад по документам — что-то такое.

— Я согласен.

— Не спешите соглашаться заранее, — сказала она. — Вас еще никто не взял.

Это звучало жестко, но без злобы. Просто как напоминание: не строить в голове спасение раньше факта.

— Резюме у вас нет? — спросила она.

Я покачал головой.

— Тогда составим.

Мы сели писать.

Фамилия, имя, отчество.

Возраст.

Образование.

Предыдущий опыт работы.

Навыки.

Особые условия.

И на этой строке я замер.

Особые условия.

Сколько унижения помещается в двух словах, если в них нужно уместить все, что жизнь у тебя сломала.

Марина Сергеевна заметила паузу.

— Пишите спокойно, — сказала она. — Это не исповедь. Это информация.

Я взял ручку и медленно вывел:

Ограничение по длительной ходьбе и стоянию. Нежелательны подъем тяжестей и работа в интенсивном темпе. Возможна неполная занятость.

Почерк у меня до сих пор был неровный. Последние слова пришлось переписывать: рука дрогнула. Я смотрел на написанное и чувствовал, как внутри поднимается старая злость.

Вот, значит, кто я теперь на бумаге. Не человек, который пережил аварию, кому-то был отцом, хозяином дома, кому-то нужен был всерьез. А набор ограничений.

Но злость довольно быстро сменилась другим. Если не написать правду, работа ломает меня быстрее, чем ее отсутствие. Значит, правда — не унижение. Инструмент. Пришлось учиться и этому.

Через три дня Марина Сергеевна позвала меня к себе.

— Есть один вариант, — сказала она. — Ничего особенного. Небольшой хозяйственный магазин в старом квартале. Им нужен человек на полдня: принимать мелкий товар, проверять накладные, иногда сидеть за стойкой, если второй продавец отойдет. Не таскать мешки, не разгружать машину — на это у них другие люди. Хозяин вроде бы согласен посмотреть.

— Посмотреть? — повторил я.

— На вас, — спокойно сказала она. — И поговорить.

Я кивнул.

Конечно. Не на навыки. Сначала на меня. На трость. На то, как я сажусь, встаю, говорю, дышу. Мир вообще после болезни сначала смотрит на твою поломку, а уже потом — на остальное.

— Когда? — спросил я.

— Завтра в одиннадцать. Я могу дать адрес и позвонить предупредить, что вы придете.

— Нет, — сказал я слишком быстро. — То есть... позвонить можно. Но пойду сам.

Она посмотрела внимательно.

— Уверены?

— Нет. Но пойду сам.

— Хорошо.

Она записала адрес на листке, номер телефона, фамилию владельца — «Савельев Игорь Павлович» — и, протягивая бумагу, вдруг сказала:

— Только запомните одну вещь. Вы идете не просить милость. Вы идете предлагать то, что можете дать. Пусть немного. Но честно.

Я взял листок и впервые за все время почувствовал не страх, а почти благодарность. За то, что кто-то сформулировал это за меня. Не милость.

Работа — это не про сострадание.

Это обмен.

Если, конечно, тебе повезет встретить человека, который тоже это понимает.

На собеседование я собирался так же, как на первый выход в город. Даже тщательнее. Выбрал самую опрятную одежду из того, что у меня было. Долго брился, чтобы не оставить неровных полос. Причесался. Протер обувь влажной салфеткой. Несколько раз перечитал адрес, хотя уже запомнил его наизусть.

Смешно, но больше всего меня тревожило не то, что я могу не справиться с работой, а то, что меня сочтут жалким. Что увидят во мне не человека, пришедшего договариваться, а обломок чужой жизни, который неудобно выставить за дверь, но и взять невозможно.

Николай Степанович, заметив мои метания, сказал:

— Главное, не начинайте с извинений.

— Я и не собирался.

— Собирались, — отрезал он. — У вас это уже на лице написано.

Я раздраженно посмотрел на него.

— И что, по-вашему, мне делать?

— Сесть. Подышать. И не смотреть на него снизу вверх, даже если у вас трость.

Это было сказано грубо, но я понял. Очень легко после болезни начать говорить с миром так, будто заранее благодаришь за сам факт, что тебя терпят.

Я не хотел этого. Хотя страх именно к этому и толкал.

Магазин оказался небольшим, старым, из тех, где продается все сразу: лампочки, батарейки, веревка, краска, гвозди, щетки, хозяйственное мыло, скотч, пакеты для мусора, садо-

вые перчатки, мелкие замки, кружки, совки, изоленга, удлинители. Такие магазины почему-то всегда пахнут пылью, пластиком и чем-то железным.

Над входом висела выцветшая вывеска.

Внутри было тесно, но чисто. За прилавком стояла женщина лет пятидесяти с крашеными волосами и читала что-то в телефоне.

Я вошел, поздоровался.

Она подняла взгляд, быстро оценила меня и спросила:

— Вы к Игорю Павловичу?

— Да.

— Сейчас позову.

Пока она уходила в подсобку, я стоял у стеллажа с лампочками и чувствовал, как сердце опять начинает колотиться не по делу, как в аптеке. От этого я злился еще сильнее. На себя. На тело, которое будто не желало признавать простые вещи простыми.

Потом вышел хозяин. Лет около шестидесяти, плотный, с тяжелым лицом и внимательными маленькими глазами. Не грубый, но из тех, кто привык решать быстро, не тратя лишних слов.

— Глеб Валентинович? — спросил он.

— Да.

— Проходите.

Подсобка была крошечная: стол, стул, чайник, коробки, старый компьютер, календарь с какими-то трубами и вентилями. Он сел напротив меня, не предлагая лишних церемоний.

— Марина Сергеевна сказала, вы ищите работу, — начал он.

— Да.

— Что у вас со здоровьем?

Вопрос прозвучал прямо, без обиняков. И почему-то именно это мне понравилось больше, чем если бы он начал осторожничать.

— Последствия тяжелой травмы, — сказал я. — Долго лежал, потом восстановление. Сейчас хожу сам, но с тростью. Долго стоять трудно. Тяжести поднимать не могу. Соображаю нормально, руки работают, хотя не так быстро, как раньше.

Он кивнул. Ни удивления, ни сочувствия.

— Работали кем?

Я назвал.

Он поднял брови.

— А теперь, значит, хотите в хозяйственный магазин?

— Хочу любую честную работу, которую потяну.

Он помолчал.

— Это не ответ, — сказал наконец.

Я едва не усмехнулся: почти те же слова Николая Степановича.

— Тогда так, — сказал я. — Мне нужна работа, где важнее внимательность, чем скорость. Где я не подведу человека из-за того, что не могу бегать и таскать коробки. Я умею разбираться в бумагах, не путаюсь в простых расчетах, могу разговаривать с людьми спокойно. Если надо — научусь тому, чего сейчас не знаю.

Он смотрел на меня долго. Слишком долго. Я уже начал чувствовать, как под этой паузой снова проступает старый стыд: вот сейчас откажет, и придется встать, поблагодарить, выйти, пройти весь обратный путь и сделать вид, что ничего особенного не произошло.

Но он вдруг спросил:

— Почему вам это нужно?

Я не сразу ответил. Можно было сказать: деньги. И это было бы правдой.

Но не всей.

— Потому что я не хочу дальше жить как человек, которого только обслуживают, — сказал я тихо. — И потому что, если сейчас не начну, потом начну бояться еще больше.

Он откинулся на спинку стула.

— Это уже больше похоже на правду, — сказал он.

Потом началось самое неприятное. Проверка не по словам, а по факту.

Он вывел меня в зал, показал несколько коробок с мелким товаром, накладную, полку, куда надо было разложить упаковки по номерам и видам.

— Попробуйте, — сказал он.

Вот тут у меня внутри все сжалось. Собеседование словами — это одно. Но как только тебя просят показать руками, сразу исчезает защита фраз. Остается только реальность: насколько твердо ты стоишь, как быстро соображаешь, насколько послушны пальцы.

Я поставил трость рядом с прилавком, взял накладную.

Лампочки.

Батарейки.

Кисти.

Крючки.

Изолента.

Товар был легкий, но его надо было брать, переносить, читать мелкие надписи, наклоняться, тянуться к полке, не терять равновесия.

Первые минуты я делал все слишком скованно. Боялся уронить. Боялся выглядеть смешно. Боялся, что хозяин заметит, как мне трудно даже с этой ерундой. От страха движения становились еще хуже.

Одна упаковка батареек выскользнула у меня из пальцев и упала на пол.

Тихо, без драмы.

Но мне этого хватило.

Я замер. Вот сейчас. Вот оно.

Сейчас последует то самое вежливое: «Мы вам перезвоним», которое означает «нет» еще до конца разговора.

Но женщина за прилавком, та самая, с телефоном, только подняла батарейки и сказала:

— У нас и здоровые роняют.

А хозяин коротко бросил:

— Не стойте. Продолжайте.

И от этого простого «продолжайте» мне внезапно стало легче. Не потому, что меня пожалели. А потому, что не сделали из моей неловкости событие.

Я продолжил.

Медленно. Аккуратно. Слишком долго, наверное. Но через десять минут заметил, что уже не думаю каждую секунду о том, как выгляжу. Думаю о товаре. О том, чтобы не перепутать артикулы. Чтобы логично разложить. Чтобы не пропустить строчку в бумаге.

То есть думаю о работе. И вот это было самым важным. Не о своей беде. Не о взглядах. Не о трости. А о деле.

Пусть простом. Пусть не таком, каким я когда-то мерил собственную значимость.

Но деле.

Когда мы вернулись в подсобку, я уже устал. Не катастрофически, но ощутимо. Нога гудела. Ладонь вспотела на рукояти трости. Под рубашкой на спине выступила испарина.

Хозяин это заметил.

— На целый день вас сейчас нельзя, — сказал он.

Я кивнул.

— Я и не просил.

— Это хорошо.

Он открыл ящик, достал какие-то бумаги, полистал.

— Могу предложить так. Три раза в неделю. Сначала по четыре часа. Прием мелкого товара, накладные, порядок на ближайших полках, подмена за прилавком на короткое время. Без тяжелой разгрузки. Если не справитесь — расстанемся спокойно. Если справитесь — посмотрим дальше.

Мне показалось, что я ослышался.

— Вы... берете меня?

— Я пробую вас, — сухо уточнил он. — Не путайте.

Но даже эта поправка не могла уже ничего испортить.

Пробует. Значит — шанс.

Настоящий.

Не разговор о гипотетическом будущем. Не «может быть когда-нибудь». Не сочувственное кивание.

Шанс.

Я почувствовал, как к горлу подступает что-то опасное — не то смех, не то слабость, не то слишком сильное облегчение. Только бы не показать это. Только бы не начать благодарить так, будто он спас мне жизнь.

Я сжал пальцы на трости и сказал ровно, как смог:

— Я понял. Постараюсь не подвести.

Он посмотрел на меня и вдруг произнес:

— Не надо стараться не подвести. Надо честно говорить, если не тянете. Это полезнее.

Я кивнул.

Конечно. Опять честность. Как будто новая жизнь вообще строилась только на ней — иногда горькой, иногда унижительной, но необходимой.

В центр я возвращался почти оглушенный. Не радостный — именно оглушенный. Когда долго живешь в режиме потерь, организм перестает верить в хорошие повороты. Даже маленькие. На каждую удачу сначала реагируешь недоверием.

У калитки я остановился, чтобы перевести дыхание. В пакете лежала бумажка с графиком пробных смен и список документов, которые надо донести. Совсем простые вещи. Но по весу они были как кирпичи для фундамента.

Тетя Валя, увидев меня в коридоре, сразу прищурилась:

— Ну?

— Кажется, взяли на пробу.

— Ого, — сказала она уже без шутки. — Ну-ка, покажитесь. Живой хоть?

— Пока да.

— Тогда идите обедать. Работник.

Слово было сказано буднично, почти между делом. Но я все равно почувствовал, как внутри что-то дрогнуло.

Работник.

Не пациент.

Не подопечный.

Не тяжелый случай.

Пока еще не совсем, не по-настоящему, не прочно — но уже хотя бы в направлении этого слова.

Николаю Степановичу я рассказал вечером.

Он выслушал, не перебивая, только иногда кивал.

— Ну что ж, — сказал он наконец. — Значит, дело пошло.

— Боюсь, что не выдержу.

— Выдержите — хорошо. Не выдержите — узнаете предел. Тоже польза.

— А если опозорюсь?

Он посмотрел на меня как на человека, который все еще иногда говорит удивительные глупости.

— Перед кем?

Я не ответил. Потому что правильный ответ был бы: перед собой. Перед тем прежним собой, который до сих пор сидел внутри, сложив руки, и презрительно наблюдал, как я учусь радоваться четырем часам в хозяйственном магазине.

Николай Степанович, будто угадав это, сказал тише:

— Вы все сравниваете. С тем, что было. Не надо. То, что вам сегодня дали простую работу, — не падение. Это первая ступенька. Плохо не то, что ступенька низкая. Плохо — вообще не вставать на лестницу.

Я долго молчал после этих слов. Потом кивнул.

Да.

Наверное, именно так.

Первый рабочий день оказался даже страшнее собеседования. Потому что там меня только смотрели, а здесь уже ждали результата.

Я пришел заранее, слишком заранее, минут за двадцать. Стоял у магазина, делая вид, что просто рассматриваю вывески напротив, а сам мысленно повторял: не спешить, не суетиться, не пытаться казаться здоровее, чем есть.

Когда вошел, женщина за прилавком — ее звали Лидия Викторовна — уже раскладывала мелочь в кассе.

— Пришли? — сказала она. — Хорошо. Я уж думала, передумали.

— Я тоже думал, — честно ответил я.

Она хмыкнула.

— Это нормально.

В этот день мне дали самые простые задачи: сверять поступивший мелкий товар с накладной, отмечать, чего не хватает, расставлять по местам то, что не требует особой физической силы, протирать ближние полки, иногда отвечать покупателям, если вопрос простой.

И с первых же минут стало ясно, что работать — это совсем другое, чем «быть готовым работать». Тут нельзя было раствориться в своем внутреннем героизме. Товар не раскладывается от одного мужества. Накладная не сверяется благодаря красивому преодолению. Покупателю неважно, какой путь ты прошел до этой кассы. Ему нужна батарейка нужного типа, и чтобы ему не мешали.

И в этом было странное облегчение. Работа не интересовалась моей трагедией. Она просто требовала внимания.

В какой-то момент вошел мужчина и спросил:

— У вас есть маленькие саморезы по дереву, черные?

Я знал, где они лежат: Лидия Викторовна успела показать утром. Подвел его к нужной полке, нашел упаковку, назвал цену. Он взял, кивнул, пошел платить.

И все.

Никакой особенной сцены. Но я несколько секунд стоял у стеллажа и чувствовал, как внутри поднимается тихое, почти не верящее ощущение.

Я только что не восстанавливался. Не боролся. Не вспоминал, как жить. Я просто помог человеку купить саморезы. И, может быть, это было важнее многих высоких мыслей. Потому что жизнь чаще всего и возвращается не через озарения, а через вот такие мелкие, неприметные полезности.

К концу четвертого часа я уже едва держался.

Спина ныла, нога наливалась тупой тяжестью, в голове шумело от напряжения и непрерывной концентрации. Я пытался этого не показывать, но, кажется, без особого успеха.

Игорь Павлович вышел из подсобки, посмотрел на меня и сказал:

— На сегодня хватит.

Я автоматически ответил:

— Я еще могу.

Он махнул рукой.

— Вижу. Именно поэтому и хватит.

Я хотел возразить, но понял, что он прав. Еще полчаса — и я уже начну делать ошибки не из слабости характера, а просто из усталости тела. А ошибки в работе — это совсем не то же самое, что усталость на тренировке.

Перед уходом он спросил:

— Ну как?

Я вытер ладони о брюки.

— Тяжело.

— Еще бы.

— Но... хорошо.

— Вот это уже правильное, — сказал он.

Лидия Викторовна, не отрываясь от кассы, добавила:

— Завтра отлежитесь. Послезавтра приходите опять. Только ешьте нормально с утра, а не как эти все герои на пустом желудке.

Я кивнул и вышел на улицу. Город был тот же самый — сырой, серый, равнодушный. Люди шли мимо, пакеты шуршали, машины у перекрестка раздраженно сигналили кому-то, ветер трогал вывески.

Но теперь у меня в руках был не просто пакет с аптечной мелочью, а первый, пусть еще не полученный, но уже заработанный кусок моей новой жизни.

Не данный. Не выданный. Не назначенный.

Заработанный.

Пусть на четыре часа. Пусть через боль. Пусть в магазине, о существовании которого раньше я бы даже не задумался.

Но все же — заработанный.

Вечером в центре я был выжат до предела.

Даже ужин ел медленно, с усилием. Николай Степанович поглядывал на меня и только один раз сказал:

— Ну?

Я ответил коротко:

— Кажется, вернулся.

— Куда?

Я подумал и сказал:

— Туда, где с человека что-то спрашивают.

Он кивнул.

— Это хорошее место.

Перед сном я долго не мог уснуть. Тело гудело, как после слишком долгой дороги. Но за этой усталостью не было прежней пустоты. Наоборот — в ней появилась плотность.

Смысл. Простой, почти грубый, без всякой романтики.

Сегодня я сделал работу. Мало. Медленно. С огрехами.

Но сделал.

И мир за это не рассыпался. Никто не потребовал от меня быть прежним. Никто не вернул мне старую жизнь. Но и новая вдруг перестала быть одним только выживанием.

В ней появился труд. А где появляется труд, там у человека почти всегда появляется и форма, распорядок, доход и самоуважение. Пусть сначала маленькое, шаткое, почти незаметное.

Я лежал в темноте и думал о том, что, наверное, возвращение человека к себе начинается именно в тот день, когда он впервые снова устает не от боли, а от дела.

Глава 7

Поначалу я считал недели.

Потом — только смены. А потом перестал считать вообще.

Жизнь в хозяйственном магазине оказалась не тем временным унижением, которого я когда-то боялся, а чем-то гораздо более важным: простой, упрямой школой возвращения. Не к прежней жизни — до нее было еще далеко, — а хотя бы к самому ощущению, что я снова на что-то годен.

Работа была неброская, почти невидимая. Накладные, полки, коробки с лампочками, пачки батареек, связки щеток, рулоны пакетов, банки с краской, канцелярские мелочи, хозяйственные тряпки, мешки с кошачьим наполнителем, которые мне по-прежнему не доверяли, и я не спорил.

Первые месяцы мое тело жило от смены до смены.

В рабочие дни я держался на упрямстве, а потом приходил в центр и валился на кровать так, будто разгружал не магазин, а железнодорожный состав. Нога ныла, поясницу тянуло, плечо, на которое приходилась нагрузка от трости, гудело к вечеру тупой усталостью. Иногда мне казалось, что никакого восстановления нет и не будет — есть только медленное привыкание к новому пределу.

Но перемены, как выяснилось, редко приходят торжественно. Они подкрадываются исподволь. Сначала я заметил, что стал меньше садиться во время смены. Потом — что могу дольше стоять у стеллажа, не выискивая глазами табурет. Потом — что под конец дня устаю не до черноты в голове, а просто как устают люди после работы.

Однажды утром я дошел от центра до магазина и только у двери понял, что всю дорогу нес трость в руке, а не опирался на нее. Это было так странно, что я остановился прямо у входа и несколько секунд смотрел на нее, как на чужую вещь.

Не то чтобы она больше не была нужна совсем. В плохие дни, в слякоть, на дальние расстояния я все еще брал ее с собой. Но зависимость уже ослабла. Тело начинало вспоминать само себя.

Лидия Викторовна заметила это раньше меня.

— Слушайте, — сказала она однажды, когда я, не думая, поднялся с низкого стула почти одним движением, — а вы ведь уже без палки почти ходите.

Я машинально оглянулся на трость, стоявшую в углу подсобки.

— Почти, — сказал я.

— Вот и хорошо, — отозвалась она. — А то вид у нее был такой, будто это не вы на нее опираетесь, а она на вас.

Я усмехнулся, но внутри вдруг потеплело.

Да, пожалуй. Именно так все и было.

Еще через месяц я перестал брать трость на работу. Первый день без нее показался почти неприличным. Я шел по улице напряженно, слишком внимательно следя за каждым шагом, будто боялся, что тело заметит мою самонадеянность и тут же отомстит. Но не случилось ничего особенного. Я дошел. Потом отработал смену. Потом вернулся обратно.

На следующий день — тоже.

На третий я впервые поймал себя на том, что просто иду, а не совершаю важное медицинское событие. Наверное, именно это и было настоящим признаком выздоровления: когда то, что прежде воспринималось как подвиг, становится обыкновенным действием.

Силы тоже возвращались неравномерно, рывками. Еще недавно коробка бумаги казалась мне вещью, с которой надо заранее договариваться. Теперь я уже мог поднять ее и перенести без того внутреннего ужаса, что сейчас подведет спина или дрогнет нога. Не легко, не играючи — но уверенно. Я стал быстрее ходить между полками. Реже переводить дыхание. Реже думать о том, как стою, как поворачиваюсь, за что держусь.

Работа, которая сначала казалась мне потолком, вдруг стала тесновата. Не потому, что я ее перерос в высокомерном смысле. А потому, что она, видимо, сделала свое дело. Поставила меня на ноги в самом буквальном значении.

Игорь Павлович тоже это видел.

Он вообще был из тех людей, кто редко хвалит, но замечает все. Если ты ошибся в накладной, он замечал. Если пришел бледный и упрямо делаешь вид, что все нормально, — тоже замечал. Если стал крепче, спокойнее и увереннее — тем более.

Несколько раз за последний месяц он уже бросал на меня какой-то прицельный взгляд, как будто примерял к новой мысли, но ничего не говорил, пока однажды под вечер не позвал в подсобку.

День был длинный, с июньской сыростью под ногами. Я как раз расставлял пачки бумаги и проверял привезенную канцелярию, когда он сказал:

— Глеб Валентинович, зайдите на минуту.

Я отложил накладную и прошел в подсобку. Там, как всегда, пахло пылью, крепким чаем и картоном. На столе стоял его старый чайник, рядом лежала пачка счетов и раскрытый блокнот с цифрами. Игорь Павлович сел, сцепил руки на животе и посмотрел на меня без привычной спешки.

— Как самочувствие? — спросил он.

Вопрос был настолько не в его манере, что я насторожился.

— Нормально, — ответил я. — А что?

— Нормально — это как?

Я чуть пожал плечами.

— Лучше. Намного. Уже почти не устаю так, как раньше.

— Вижу, — сказал он. — И хромаете меньше.

— Так оно и есть, — отозвался я.

Он кивнул, будто именно этого ответа и ждал.

Потом помолчал и сказал:

— У меня есть к вам разговор. Не совсем про этот магазин.

Вот тут я уже напрягся всерьез.

Первая мысль, конечно, была самая простая и неприятная: значит, хочет уволнять. Может, нашел кого-то помоложе. Или решил, что я все-таки не так уж и нужен.

Наверное, что-то из этого отразилось на лице, потому что он сразу махнул рукой:

— Нет, не дергайтесь. Я не об этом.

Мне стало чуть легче, но не сильно.

— Тогда о чем?

Он потер подбородок.

— Есть у меня старый знакомый. Даже не знакомый — друг. Он хозяйственной частью заведует в одном банке. Небольшой филиал плюс еще административные помещения. Ищет надежного человека. Не мальчика на побегушках, а нормального, ответственного работника. Такого, который не исчезнет через неделю, не напьется, не перепутает все на свете и не будет врать, если что-то не тянет.

Я молчал, и он продолжил:

— Я про вас подумал.

Сказано это было совершенно буднично. Но мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять смысл.

— Про меня? В банк?

— А что вас так удивляет? — сухо спросил он.

— Хотя бы слово «банк».

Он усмехнулся краем рта.

— Не кассиром и не начальником отдела. Хозяйственное обслуживание. Но место стабильное. И платят там лучше, чем здесь.

Я сел напротив, потому что вдруг почувствовал: разговор будет не на минуту.

— Что именно надо делать? — спросил я.

Он загнул палец.

— Заправлять картриджи в принтеры.

Второй.

— Развозить по кабинетам бумагу, папки, ручки, всякую канцелярию со склада.

Третий.

— Утром иногда помогать разгружать машину, когда привозят все это добро.

Четвертый.

— Следить за кулерами, менять воду.

Пятый.

— Кофейные аппараты: чтобы были чистые, заправленные, работали.

Шестой.

— Автоматы с едой и напитками: пополнять, смотреть, если что-то заедает, вызывать сервис, но базовые вещи делать самому.

Он откинулся назад и закончил:

— В общем, чтобы офисный народ жил в своем комфорте и не думал, откуда у него берется бумага, кофе и вода.

Я слушал и неожиданно понимал: это не звучит как подачка. Это звучит как настоящая работа. Простая, но уже более широкая, более живая, с движением, с ответственностью, с доверием.

И — да — с деньгами.

Наверное, он увидел, что я внутренне уже включился, потому что заговорил конкретнее:

— Сразу скажу: бегать там придется больше, чем здесь. Работа на ногах. Иногда — коробки. Не сейфы, конечно, но все же. Поэтому я и тянул, не предлагал раньше. А сейчас смотрю — вы уже другой стали.

Эти слова неожиданно задели. Не в плохом смысле. Просто очень точно.

Да. Другой.

Еще не прежний — и, может быть, никогда уже не прежний. Но другой, чем был полгода назад. Более собранный. Более сильный. Менее хрупкий.

— И сколько платят? — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

Он назвал сумму.

Я невольно поднял глаза.

Это было заметно больше, чем в магазине. Не состояние, не роскошь, не новая судьба, но уже те деньги, из-за которых человек может не только выживать, а понемногу собирать свою жизнь обратно.

— Вот именно, — сказал он, заметив мою реакцию. — Там вы заработаете больше, чем у меня. А у друга как раз беда с кадрами. Приходят всякие. Один ленивый, другой врет, третий на второй день исчезает. А ему нужен нормальный человек.

Он сделал паузу.

— Такие, как вы, сейчас редкость.

Я не сразу ответил.

Наверное, потому, что очень давно никто не произносил в мой адрес такую фразу без жалости и без утешения. Не «вы молодец, держитесь». Не «ну для вашего состояния это прекрасно». А просто — нормальный человек. Ответственный работник.

Мне вдруг стало трудно говорить.

— Почему вы вообще решили мне это предложить? — спросил я наконец.

Он пожал плечами.

— Потому что вижу, как вы работаете. И потому что здесь вы уже свой максимум почти переросли. В плохом смысле не поймите. Просто магазин — это магазин. А там у вас будет больше движения, больше пользы и больше денег. Если, конечно, потянете.

Последние слова он произнес намеренно сухо, словно возвращая меня с небес на землю. И правильно делал.

Потянете. Вот ключевой вопрос.

Не достойны ли вы.

Не повезет ли вам.

Не заслужили ли вы.

А потянете ли.

Я опустил взгляд на свои руки. Обычные руки. Уже не такие дрожащие, как прежде. Чуть загрубевшие от коробок, бумаги, постоянной работы. Потом посмотрел на дверь, за которой был магазин, где я впервые снова стал полезным. Потом снова на Игоря Павловича.

— Когда надо ответить? — спросил я.

— Да хоть сейчас. Или завтра. Я просто позвоню другу и скажу, стоит ли вас ждать.

Я вдохнул.

Если бы этот разговор случился три месяца назад, я бы испугался. Начал бы прикидывать, откладывать, сомневаться, объяснять, что мне надо подумать, проверить себя, не делать резких движений.

Но, наверное, именно работа в магазине и научила меня важной вещи: иногда в новую жизнь не входят после полной готовности. В нее входят, когда готовность уже достаточно велика, а дальше — растет по ходу дела.

— Скажете, что согласен, — ответил я.

Он прищурился.

— Уверены?

— Нет, — честно сказал я. — Но хочу попробовать.

Он усмехнулся, и в этой усмешке было почти одобрение.

— Вот это уже знакомый ответ.

В тот вечер я возвращался в центр быстрее обычного. Даже не потому, что спешил, а потому, что внутри все время двигалась одна и та же мысль: в банк. В банк. В банк.

Слово казалось странным, слишком чистым, слишком офисным для моей недавней жизни. Еще совсем недавно моей главной победой было пройти до аптеки. Потом — отстоять четыре часа смены. Потом — донести коробку бумаги, не показывая, как ноет спина. А теперь мне предлагали место, где надо будет обслуживать целый механизм, быть частью чужого делового порядка, входить утром в здание, где люди в рубашках и костюмах будут пить кофе, печатать бумаги, ругаться на принтеры и не задумываться о том, что еще полгода назад человек, меняющий им воду в кулере, заново учился ходить.

И почему-то именно это меня не унижало.

Наоборот.

Казалось правильным.

Мир не обязан возвращать меня в ту точку, где все оборвалось. Но он может дать другую, с которой снова начинается движение.

В комнате Николай Степанович уже собирался ко сну. Я еще с порога сказал:

— Кажется, у меня новая работа.

Он повернулся так резко, будто ослышался.

— Уже?

— Да. То есть... если все окончательно срастется. В банке.

Он посмотрел на меня поверх очков долгим, почти торжественным взглядом.

— В каком качестве? Директором?

— Почти, — сказал я. — Картриджи, бумага, кулеры, автоматы, разгрузка машины, все такое.

Он выдержал паузу.

— Ну и хорошо.

— И это все, что вы скажете?

— А что еще? — спросил он. — Вы работаете, крепнете, двигаетесь дальше. Так и должно быть.

Но потом все же добавил, уже мягче:

— Только не геройствуйте сразу. Новая работа любит ставить человека на место в первую же неделю.

— Знаю.

— Нет, — сказал он. — Знать и помнить — разные вещи.

Я кивнул.

Он был прав, конечно. Радость радостью, а тело все еще оставалось телом, а не обещанием.

Через два дня Игорь Павлович отвел меня к своему другу сам.

Здание банка стояло в деловом квартале, серое, стеклянное, с тяжелыми дверями и охранником на входе. Я шел рядом и невольно вспоминал себя прежнего — того, который входил в такие места по другим делам, в другом костюме, с другим ощущением собственного веса. На секунду это кольнуло.

Потом отпустило. Что толку в этих сравнениях.

Друг Игоря Павловича оказался худым, подвижным мужчиной с живыми глазами и неожиданно быстрым голосом. Звали его Андрей Михайлович. Он пожал мне руку крепко, без изучающей жалости, и сразу повел показывать хозяйство.

Склад бумаги и канцелярии. Подсобка с расходниками. Принтерные картриджи. Кофейные аппараты по этажам. Кулеры. Автоматы со снеками. Задний въезд, куда утром приходит машина.

Он говорил быстро, по делу, на ходу:

— Ничего сложного нет, если голова на месте. Важно не забывать, что тут все хотят, чтобы проблема решалась до того, как они про нее громко закричат. Бумага закончилась — плохо. Кулер пустой — плохо. Кофе не работает — катастрофа. Автомат зажевал батончик — конец света. Вы должны это отслеживать раньше них. Понимаете?

— Понимаю, — ответил я.

И действительно понимал. Не сами автоматы были важны, а ответственность за невидимый порядок. Эта работа тоже была из тех, чью ценность замечают только в момент сбоя. В этом было что-то знакомое и даже честное.

Потом Андрей Михайлович остановился у склада, быстро окинул меня взглядом и спросил:

— Тяжести как?

— Уже лучше, — сказал я. — Но не без меры.

— Это нормальный ответ, — кивнул он. — Тут не грузчики нужны, а люди с головой. Но я сразу предупреждаю: ходить придется много.

— Это я уже понял.

Он посмотрел на Игоря Павловича, потом снова на меня.

— Когда можете выйти?

Я даже не стал изображать долгие раздумья.

— Хоть с понедельника.

— Вот и хорошо, — сказал он. — Три дня ходите с нашим человеком, потом сами.

Все произошло так быстро, что я вышел из банка почти в странном оцепенении. Рядом шел Игорь Павлович, сунув руки в карманы пальто.

— Ну? — спросил он.

Я усмехнулся.

— Вы как будто заранее знали, что меня возьмут.

— Знал, — спокойно ответил он. — Я же не дурак, абы кого рекомендовать.

Мы прошли еще несколько шагов в молчании. Потом я сказал:

— Спасибо.

Он отмахнулся.

— Не мне спасибо. Работали бы спустя рукава — я бы и слова не сказал. Так что это вы сами.

Но я все равно знал: не только сам. Иногда человеку нужен кто-то, кто первым увидит, что он уже вырос из своей нынешней меры.

Из магазина я уходил странно. Не с печалью — скорее с уважением. Как уходят из места, где тебе когда-то дали не карьеру, не мечту, а самую первую точку опоры.

Лидия Викторовна сказала:

— Ну что, банковский служащий, не забудете нас там, наверху?

— Я, по-моему, еще никогда не был так далек от верха, — ответил я.

Она фыркнула.

— Ничего. Главное, чтобы кофе умели наливать вовремя.

Игорь Павлович на прощание только пожал мне руку и сказал:

— Если что — звоните. Но я думаю, не понадобится.

Я хотел сказать ему что-то большее, чем обычное спасибо, но понял, что не найду правильных слов. Есть помощь, которую нельзя красиво отблагодарить, потому что она состояла не из одного поступка, а из целой цепочки: взял на пробу, не дал сломаться, не позволил жалеть себя, заметил, когда я окреп, и вовремя подтолкнул дальше. Такую помощь лучше всего оплачивать одним способом — не подвести.

Я и собирался.

В понедельник утром я вошел в банк уже как сотрудник. Не в пиджаке, конечно, не с пропуском начальника и не к мягкому креслу у окна. А на склад, к коробкам бумаги, бутылкам для кулеров, кофейным зернам, картриджам, накладным и служебным коридорам.

И все же это был новый этап. Я шел по длинному коридору без трости. Шел быстро.

Сам.

И в какой-то момент вдруг понял, что тело больше не спрашивает у каждого шага разрешения. Оно просто работает со мной заодно.

Наверное, в этом и есть настоящее восстановление: не когда ты торжественно осознаешь, что стал сильнее, а когда однажды несешь упаковку бумаги, думаешь о том, на каком этаже закончились стаканчики для кулера, и только потом замечаешь, что уже давно живешь не вокруг своей слабости, а вокруг дела.

Это было не чудо. Не внезапное возвращение прежнего человека.

Но это была сила.

Медленная, заработанная, простая.

Та, которая приходит к человеку не потому, что жизнь перед ним извинилась, а потому, что он день за днем заново входил в нее, пока она снова не начала ему отвечать.

Глава 8

Первый день в банке начался еще в темноте.

Я пришел раньше времени — не потому, что так уж требовалось, а потому что слишком хорошо знал цену месту, которое дается человеку второй попыткой. У служебного входа пахло мокрым асфальтом, картоном и холодным железом. Охранник на проходной сверил фамилию, выдал временный пропуск и махнул рукой в сторону лестницы.

— Хозчасть — вниз, потом направо.

И все. Без лишних вопросов. Без взгляда, который задерживается дольше, чем нужно.

Без осторожной жалости.

Я был для него не человеком с прошлым, не пациентом, не тем, кто «восстанавливается после тяжелого», а просто новым работником. Это почему-то сразу успокоило.

Внизу, возле склада, меня уже ждал Андрей Михайлович — худой, быстрый, деловитый. Он коротко показал, где стоит бумага, где канцелярия, где запасные бутылки для кулеров, где картриджи, где ключи от подсобок, и почти сразу отправил в работу.

— Смотрите, запоминайте, — сказал он. — Здесь все просто, пока не начинаешь путаться. Бумага — на второй и четвертый этаж. Кофе — в переговорные и в отдел кредитования. Вода — по графику, но, если где-то пусто, не ждете графика, меняете сразу. Принтеры капризные, автоматы с едой еще капризнее, а люди капризнее всех. Но привыкнете.

Я кивнул. И началось.

Коробки бумаги. Пачки файлов. Ручки, степлеры, блокноты, картриджи. Бутылки с водой. Заправка кофе-машин. Проверка автоматов с едой. Чужие кабинеты, коридоры, стеклянные двери, лестницы, короткие вопросы на ходу.

И вместе с усталостью во мне росло другое, давно забытое чувство. Я снова был среди обычных людей. Не среди тех, кто лечится. Не среди тех, чья жизнь измеряется обследованиями, таблетками, датами комиссий и осторожными прогнозами врачей. Не среди людей, которые слишком хорошо понимают чужую боль, потому что своей у них через край. А среди тех, кто живет простой повседневной жизнью и считает ее единственной нормой.

Кто опаздывает на совещание. Кто раздражается из-за зависшего принтера. Кто ругает кофе из автомата. Кто смеется в коридоре. Кто спорит по телефону. Кто бежит с папкой под мышкой и не думает о том, как правильно у него складываются ноги при ходьбе.

Я ходил по этажам с коробкой бумаги в руках и ловил обрывки разговоров:

— Нет, это надо сегодня отправить...

— Да он опять не согласовал...

— У кого есть зарядка для телефона?..

— Автомат снова не выдал сдачу...

— Я в обед вообще не успеваю...

Обычный шум. Обычная суета. Обычная жизнь. И мне вдруг стало почти больно от того, как сильно я по ней скучал. Не по блеску. Не по статусу. Не по важности. А по самой возможности быть на этом фоне, среди всех, без особого трагического освещения. Среди обычных людей.

Веронику я увидел ближе к полудню.

Я как раз менял бутылку в кулере возле клиентского отдела, когда из стеклянной двери вышли две девушки с кружками. Одна — темноволосая, оживленная, с быстрой речью и телефоном в руке. Вторая — светлая, тонкая, в светлой блузке, с небрежно собранными волосами.

И на секунду у меня сбилось дыхание. Не потому, что она была точной копией моей дочери. Нет. Жизнь не настолько прямолинейна. Но что-то в ней — в повороте головы, в том, как она морщила лоб, слушая подругу, как поправляла прядь у виска, как слегка сутулилась, когда уставала, — ударило в меня так, что внутри все сжалось.

Моя дочь когда-то так же смотрела в сторону, если ей что-то не нравилось. Так же держала кружку двумя пальцами. Так же делала вид, что не нуждается ни в чьей заботе.

Я настолько резко отвел взгляд, что едва не расплескал воду.

— Осторожнее, — сказала темноволосая и придержала мне дверь.

— Спасибо, — ответил я.

Светлая девушка скользнула по мне коротким вежливым взглядом — просто новый человек, работник хозчасти, ничего больше — и прошла мимо.

Я смотрел ей вслед лишнюю секунду. Потом заставил себя отвернуться.

Просто похожа, сказал я себе. Мало ли на свете похожих лиц. Но дело было не в лице, а в том, что память иногда узнает не человека, а жест. И этого бывает достаточно.

К концу дня я уже знал, что светлую девушку зовут Вероника, а ее подругу — Ася.

Не потому, что специально расспрашивал. Просто в каждом коллективе имена очень быстро начинают летать по воздуху сами собой.

— Вероника, тебя Андрей Михайлович искал.

— Ася, ты идешь обедать?

— Вероника, принтер у тебя опять полосит.

— Ась, захвати мне сахар.

Я старался не обращать особого внимания.

Правда старался.

Но взгляд все равно невольно цеплялся. Не за красоту — хотя она, конечно, была хорошенькой. А за какую-то мучительную узнаваемость, от которой внутри поднималось то, что я давно научился держать в узде: не боль даже, а запоздалую, никому уже не нужную отцовскую нежность. Глупая, опасная вещь. Особенно в чужом месте. Особенно к чужому человеку.

Особенно если этот человек молод, а ты уже давно не молод.

Я понимал это отлично.

И все же, когда в один из следующих дней увидел, что Вероника пытается дотащить от принтера толстую пачку бумаг и папок сразу в двух руках, не удержался.

— Давайте помогу, — сказал я.

Она обернулась немного резко.

— Не надо, я сама.

— Там неудобно нести, — сказал я. — Упадет.

— Не упадет.

И пошла дальше.

Через три шага у нее действительно съехала верхняя папка. Я подхватил ее раньше, чем бумаги разлетелись по полу.

— Вот, — сказал я и протянул.

Она взяла папку, чуть поджав губы.

— Спасибо.

Но прозвучало это не как благодарность, а как вежливая граница. Я это услышал. И отступил. Должен был на этом и остановиться.

Но потом было другое.

Однажды она стояла у автомата и раздраженно нажимала кнопки.

— Опять заело? — спросил я.

— Уже третий раз, — ответила она. — Деньги взял, а батончик не выдал.

— Сейчас открою.

Я открыл сервисную дверцу, поправил зависшую спираль, достал ее батончик и протянул.

— Держите.

— Спасибо, — сказала она.

Потом, чуть помедлив, добавила:

— Не обязательно каждый раз меня спасать.

Я удивился.

— А я вроде не каждый раз.

Она посмотрела прямо, уже без прежней вежливой размытости.

— Просто говорю заранее.

После этого я несколько дней держал дистанцию.

Но чем больше старался не замечать, тем яснее видел то, что отцовская привычка выхватывает сразу: она приходила без шапки в холод, пила слишком много кофе натошак, пару раз кашляла так, будто давно простыла, и вечно таскала тяжелые папки, хотя рядом всегда были люди, которые могли помочь.

Это была не любовь, не влечение и даже не симпатия в обычном смысле. Это было то смешное, горькое, почти унижительное для постороннего наблюдателя чувство, когда тебе хочется сказать чужому ребенку: надень шарф, поешь нормально, не сиди под кондиционером, не носи все одна. Чувство, которому некуда деться.

Однажды утром я увидел ее у кофейного аппарата бледнее обычного.

— Вы бы хоть чаю горячего выпили, а не кофе, — сказал я. — Вид у вас простуженный.

Она вскинула голову.

— Простите?

Я уже понял, что сказал не то и не так, но было поздно.

— Я просто говорю, что можно горло сорвать, если...

— Спасибо, я сама разберусь, что мне пить.

Голос стал холодным. Ровным. Не громким — но таким, после которого становится ясно: еще шаг, и человека придется останавливать уже жестче.

— Разумеется, — сказал я.

И ушел.

А в обед, проходя мимо открытой двери комнаты отдыха, случайно услышал то, чего, наверное, слышать не должен был.

Вероника говорила Асе, раздраженно и вполголоса, но достаточно отчетливо:

— Слушай, этот старикан ко мне клеится.

Я замер. Не нарочно. Просто остановился, как будто меня дернули за плечо.

— Да ну, — отозвалась Ася.

— Ну а как это еще понимать? То «давайте помогу», то «вам бы чаю», то смотрит все время так странно. Мне это вообще не нравится.

Я стоял по ту сторону двери, с пачкой пластиковых стаканчиков в руках, и чувствовал, как лицо медленно заливает тяжелый, густой стыд. Вот оно, значит, как это выглядит со стороны.

И ведь она имела право так подумать.

Молодая девушка на работе не обязана разбираться в чужих душевных провалах. Не обязана понимать, на кого она похожа, что именно во мне дрогнуло, какую память подняло. Для нее все было проще: взрослый мужчина проявляет к ней непрошеное внимание.

И, если честно, мир слишком часто дает женщинам причины настораживаться, чтобы осуждать ее за это.

— Я сегодня ему прямо покажу, чтобы не подходил, — сказала Вероника.

— Подожди, — уже серьезнее ответила Ася. — По-моему, ты не так это видишь.

— А как?

Наступила короткая пауза. Потом Ася сказала тише:

— Он не клеится. Он смотрит на тебя не как мужики смотрят, когда клеятся. Не знаю, как объяснить... Как будто ты ему кого-то напоминаешь. Или как отец смотрит.

Вероника фыркнула.

— Да ну тебя.

— Нет, правда. Разве ты не видишь? Он даже рядом с тобой неловкий какой-то, будто сам пугается. Если бы он к тебе подкатывал, это было бы совсем по-другому.

Я стоял неподвижно.

Стыд никуда не делся, но к нему примешалось другое — странная благодарность к этой девчонке, которая увидела то, что я сам не сумел вовремя скрыть и объяснить.

Ася продолжила, уже совсем спокойно:

— Честно? Я бы не отказалась, чтобы кто-нибудь так же по-отцовски обо мне заботился. Чтобы заметил, что я голодная, злая и третий день живу на кофе. А то всем вообще плевать.

Несколько секунд было тихо.

Потом Вероника сказала уже не так уверенно:

— Может быть. Но мне все равно неприятно.

— Ну так и держи дистанцию, — ответила Ася. — Только не делай из него маньяка, если он просто... не знаю... добрый какой-то. Или несчастливый.

Я пошел дальше, не дожидаясь продолжения. Пластиковые стаканчики в руках вдруг стали очень неудобными.

После этого я решил для себя твердо: все. Никаких лишних слов. Никакой опеки. Никаких советов, даже если она придет без пальто в ноябре и будет кашлять на весь этаж. В банке я работник хозчасти, а не отец ничьим детям, и тем более не этой девушке, которая и без того уже неправильно меня поняла.

Это было разумно. И это было мучительно. Потому что сердце редко слушается формулировок, которые так легко принимает ум.

На следующий день Вероника вела себя подчеркнуто сдержанно. Не грубо. Не демонстративно, но достаточно ясно.

Если я подходил к кулеру, возле которого стояла она, она чуть отворачивалась. Если мне приходилось что-то поправлять у автомата рядом с ее столом, она сразу углублялась в монитор. Если мы случайно сталкивались в коридоре, она коротко кивала и проходила мимо.

Я не навязывался. Да и не имел права.

Только один раз она сама неожиданно остановилась, когда я нес коробку бумаги мимо их отдела.

— Извините, — сказала она негромко.

Я посмотрел на нее.

— За что?

Она повела плечом.

— Может, я... слишком резко тогда.

Я понял, что это максимум, на который она сейчас способна, и ответил так же спокойно:

— Ничего страшного. Вы правильно сделали, что обозначили границы.

Она явно не ожидала такого ответа.

— Я не хотела вас обидеть.

— А я не хотел вас ставить в неудобное положение, — сказал я. — Значит, оба будем внимательнее.

На мгновение мне показалось, что она сейчас улыбнется. Но нет. Только кивнула.

— Хорошо.

И ушла. С тех пор в ее взгляде стало меньше настороженной резкости, но отгороженность осталась.

Она уже не смотрела на меня как на угрозу — скорее как на человека, с которым нужно держать правильную, безопасную дистанцию. Вежливо. Холодно. Без лишней близости.

И, наверное, это было справедливо. Не все чувства, даже самые чистые, должны быть приняты другой стороной с благодарностью. Иногда они просто слишком личные, слишком неуместные, слишком нагруженные чужим прошлым.

А чужие молодые девочки не обязаны становиться вместилищем твоей утраченной отцовской нежности только потому, что похожи на того, кого у тебя отняла жизнь. Это я тоже должен был понять. И все-таки, когда через пару дней я проходил мимо их комнаты и услышал, как Ася ворчит:

— Вероника, надень ты уже хоть что-нибудь на шею, продует опять, — а та в ответ устало бросает:

— Отстань, мамочка, — я невольно усмехнулся.

Потому что, кажется, мир все же нашел способ позаботиться о ней без моего участия. И, может быть, именно так было лучше.

В тот вечер я возвращался домой с тяжелой, но ясной головой. Первый день, когда я вошел в банк, дал мне чувство, что я снова среди обычных людей. А следующие дни напомнили и о другом: вернуться в обычную жизнь — не значит получить право забыть о собственных ранах.

Иногда они говорят из тебя раньше, чем ты успеваешь их остановить. Иногда под видом заботы наружу выходит тоска. А иногда даже добро, если оно не на месте, становится для другого человека тяжестью. Но, наверное, взросление — в любом возрасте — и состоит в том, чтобы это можно было вовремя понять и отступить.

Не обижаясь.

Не требуя понимания. Не превращая свою боль в чужую обязанность.

Я шел по улице и думал, что, может быть, именно это и есть настоящее возвращение к жизни среди обычных людей: не только снова быть полезным, но и снова учиться границам.

Даже если сердце упрямо не хочет с ними соглашаться.

После того разговора в комнате отдыха между нами установилось что-то вроде осторожного перемирия. Не дружба. Даже не симпатия. Просто выверенная вежливость двух людей, которые однажды неловко столкнулись и теперь стараются больше не задевать друг друга.

Я держал дистанцию. Вероника — тоже.

Если нужно было поменять воду в кулере у их отдела, я менял и уходил. Если зависал автомат, говорил только по делу. Если она проходила мимо, я ограничивался коротким кивком. Так было проще. Правильнее. Безопаснее для нее и, если честно, для меня тоже.

Но жизнь, как обычно, не очень интересуется нашими аккуратными внутренними решениями. Она все равно подсовывает людям моменты, в которых становится видно чуть больше, чем хотелось бы.

Первое, что Вероника, кажется, заметила по-настоящему, была моя нога. Не хромота даже — я к тому времени уже почти не хромал, — а усталость, которая проявлялась к вечеру. Когда я думал, что никто не смотрит, я иногда на секунду задерживался у стены, разгружая спину, или переносил вес с одной ноги на другую слишком осторожно для здорового человека.

Однажды я как раз тащил на четвертый этаж две упаковки бумаги, когда лифт снова застрял между этажами. Пришлось идти по лестнице. Наверх я поднялся, конечно, но у последнего пролета дыхание уже сбилось, а в колене неприятно прострелило.

Я поставил коробки у стены, выпрямился не сразу. И только тогда заметил, что стеклянная дверь в отдел приоткрыта, а за ней стоит Вероника.

Она смотрела на меня не так, как прежде. Не с раздражением. Не с холодной настороженностью. Скорее с неожиданным вниманием, в котором впервые мелькнул вопрос.

Я сделал вид, что ничего не произошло, поднял коробки и внес их внутрь.

— Куда поставить? — спросил я ровно.

Она будто опомнилась.

— А... сюда. Возле шкафа.

Я поставил бумагу.

— Еще что-нибудь нужно?

— Нет.

Я уже развернулся к двери, когда она вдруг сказала:

— У вас колено болит?

Я остановился. Вопрос был простой, почти бытовой. Но в нем не было ни насмешки, ни любопытства ради любопытства. Только осторожность.

— Иногда, — ответил я.

— Извините, если не мое дело.

— Но ничего страшного, — сказал я, но без резкости.

И ушел.

Это был первый раз, когда в ее голосе не было защиты. Только неловкость. И мне почему-то запомнилось именно это.

Потом был другой день.

Я пришел раньше обычного, потому что с утра ждала разгрузка, и еще у входа увидел, как охранник — тот самый, немногословный — помогает мне придержать тяжелую створку.

— Осторожно, Глеб Валентинович, — сказал он. — Не дергайте резко, спина потом опять схватит.

Я усмехнулся:

— Не схватит.

— Это вы так каждый раз говорите.

Мы вошли внутрь, и я не заметил, что в холле уже стоит Вероника с телефоном в руках. Она, видимо, пришла рано и услышала конец фразы.

Я понял это позже, когда днем она неожиданно спросила у Аси:

— А он давно здесь работает?

— Кто? — не поняла Ася.

— Ну... Глеб Валентинович.

Я был в соседнем коридоре, возился с кофейным аппаратом и слышал их голоса вполуха.

— Недавно, — ответила Ася. — А что?

— Ничего.

— Ты чего?

— Да ничего, говорю.

Но в этом «ничего» уже было то самое беспокойное человеческое любопытство, которое появляется, когда твоя готовая схема вдруг перестает сходиться. Для «старик ко мне клеится» во всей этой картине было слишком много лишнего: больное колено, усталость, отношение охранника, общая какая-то несуетная сдержанность, совсем не похожая на ухаживание.

Настоящий сдвиг произошел, кажется, из-за Андрея Михайловича. Он не был болтуном, но иногда говорил лишнее просто потому, что думал вслух и не считал нужным что-то скрывать.

В тот день у них в отделе опять заело принтер. Я менял картридж, Андрей Михайлович стоял рядом и ворчал:

— Что ж у вас тут все сыплется одновременно...

Потом взглянул на меня:

— Глеб Валентинович, вы только не таскайте сегодня много сами, ладно? После вчерашней разгрузки и так еле разогнулись.

Я коротко ответил:

— Разогнулся же.

— Это потому, что упрямый, — фыркнул он. — Другой бы после такого восстановления себя берег, а вы все как будто кому-то что-то доказываете.

Я почувствовал, как за спиной повисла тишина. Вероника стояла у стола в двух шагах от нас. Андрей Михайлович, кажется, только тогда понял, что сказал больше, чем следовало, и махнул рукой:

— Ладно, работайте.

Но слова уже были сказаны. «После такого восстановления». Я не обернулся на Веронику, хотя физически чувствовал ее взгляд. Когда мы вышли в коридор, Андрей Михайлович раздраженно пробормотал:

— Язык мой — враг мой.

— Ничего, — ответил я.

Но внутри появилось неприятное предчувствие. Не потому, что я так уж хотел хранить тайну. Просто не любил, когда моя история начинала жить отдельно от меня — в чужих намеках, недоговоренностях, половине фраз. И все же именно с этого, наверное, для Вероники начался путь к правде. Не с признания. С трещины в прежнем впечатлении.

Через пару дней она впервые обратилась ко мне сама. Не за помощью. Не с извинением. Просто по делу.

Я проверял кофейный аппарат в переговорной, когда она заглянула в дверь.

— Извините... у вас пластыря случайно нет?

Я поднял голову.

— Пластыря?

Она чуть смутилась.

— Да. Бумага порезала палец. В аптечке у нас почему-то ничего нет.

Я молча открыл ящик с расходниками. Пластырь там действительно лежал — вместе с парой упаковок таблеток от головы, которые я носил для себя и протянул ей.

Она взяла, потом заметила лекарства.

— Вы всегда носите с собой аптечку?

— Возраст, — сказал я сухо.

Она вдруг слабо улыбнулась.

— А я думала, вы скажете что-нибудь более загадочное.

— Не умею.

Это была почти шутка. Совсем короткая, почти мертвая. Но она на секунду изменила воздух между нами.

Вероника заклеила палец, помедлила и все-таки спросила:

— А что Андрей Михайлович имел в виду... тогда?

Я посмотрел на нее. Она явно сама пожалела, что спросила так прямо, но отступить было поздно.

— Ничего, что касалось бы вас, — ответил я.

Она опустила глаза.

— Я не из любопытства.

— А из чего?

Подумав, она честно сказала:

— Мне кажется, я сначала вас неправильно поняла.

В этой фразе не было красивого покаяния. Только осторожный шаг навстречу. Я мог бы снять напряжение, сказать что-нибудь простое, незначительное. Но почему-то не захотел уходить в легкость.

— Неправильно понять вы имели полное право, — сказал я. — Я и сам вел себя не очень умно.

— Но все-таки? — спросила она тихо.

Я немного помолчал.

— Была травма, — сказал наконец. — Долгое восстановление. Сейчас уже лучше.

— Серьезная?

— Достаточно.

Она кивнула. Не лезла дальше. И за это я был ей благодарен. Но, как выяснилось, на этом ее интерес не закончился.

Истории в любом коллективе редко лежат на поверхности. Обычно они оседают по углам — у охраны, в курилке, в бухгалтерии, в разговорах тех, кто давно работает вместе.

Вероника не расспрашивала всех подряд, это было не в ее характере. Но кое-что до нее все равно начало доходить.

От охранника она, видимо, узнала, что поначалу я ходил с тростью. От Аси — что живу не «где-то рядом», а в центре временного проживания. От бухгалтерши с первого этажа — что мне долго восстанавливали документы. От Андрея Михайловича — что в хозяйственный магазин меня когда-то устроили почти с нуля, потому что после больницы я вообще не был уверен, смогу ли нормально работать.

Все это складывалось не в полную картину, но уже не позволяло смотреть на меня по-прежнему. А потом случилось то, что, наверное, стало для Вероники самым понятным ключом.

Она увидела мою фотографию.

Не какую-то драматическую. Не из больницы. Обычную старую фотографию, которую я по глупости до сих пор носил в бумажнике за прозрачным кармашком. Дочь в школьном платье, смеющаяся, чуть шурящаяся на солнце.

В тот день я, видимо, слишком неловко вытащил бумажник, когда рассчитывался в автомате за воду, и фотография съехала наружу. Я этого не заметил.

— Это ваша дочь? — спросил вдруг Вероникин голос.

Я поднял голову. Она стояла рядом, а в ее руке был мой снимок.

У меня внутри все сжалось так быстро, что первое мгновение я вообще ничего не смог ответить.

— Да, — сказал наконец.

Вероника посмотрела на фотографию, потом на меня. И я увидел по ее лицу, что она все поняла. Не всю историю. Не факты. Не подробности. Но главное.

Почему я так смотрел. Почему отводил глаза слишком поздно. Почему рядом с ней становился неловким и чужим самому себе.

Она осторожно вернула фотографию.

— Простите, — сказала очень тихо.

На этот раз в ее «простите» уже не было прежней формальной вежливости. Только настоящее человеческое смущение. Я убрал снимок обратно.

— Не за что.

Но она покачала головой.

— Есть за что.

И ушла.

После этого перемены стали заметны не сразу, а именно постепенно — как и должно быть с настоящим изменением взгляда. Она не бросилась ко мне с теплом. Не стала вдруг доверительной.

Не попыталась выспросить подробности. Просто ушла настороженная колючесть.

Если раньше она, увидев меня, внутренне собиралась, как будто заранее готовилась отражать что-то нежелательное, то теперь в ней появилось другое — бережность. Осторожная, еще неумелая, даже немного виноватая.

Однажды она сама придержала мне дверь, когда я катил тележку с бутылками. В другой раз сказала:

— Давайте я хотя бы часть возьму.

Я ответил:

— Не надо.

Она упрямо взяла упаковку стаканчиков и понесла рядом. Это было смешно и трогательно: помощь почти символическая, но предложенная от чистого сердца.

Еще через несколько дней она принесла мне из кофейной зоны бумажный стаканчик.

— Здесь нормальный чай, не из автомата, — сказала она. — Мы заваривали в отделе. Если хотите.

Я взял стаканчик.

— Спасибо.

Она помедлила.

— Это не потому, что я жалею вас.

— Слава богу, — сказал я.

Она вдруг засмеялась. Коротко, тихо, с явным облегчением.

— А то я уже испугалась, что опять скажу что-нибудь не то.

— Это наша общая специальность, — ответил я.

С этого дня между нами появилась возможность говорить чуть свободнее.

Не много.

Не обо всем. И без того постоянного напряжения, которое раньше стояло между каждой фразой.

Однажды вечером, когда большинство уже разошлось, я менял воду у кулера на третьем этаже. Вероника задержалась допоздна и вышла в пустой коридор с папкой в руках.

— Можно спросить? — сказала она.

— Конечно.

Она оперлась плечом о стену и некоторое время молчала, будто подбирая слова.

— Вы поэтому ко мне так относились?

Я выпрямился.

— Как именно?

— Ну... как будто я маленькая. Как будто меня надо то накормить, то укутать, то отобрать тяжелую папку.

Я невольно усмехнулся.

— Когда вы так формулируете, звучит и правда сомнительно.

Она тоже чуть улыбнулась, но тут же снова посерьезнела.

— Это из-за того, что я похожа на нее?

Врать не имело смысла.

— Отчасти.

— Вы давно ее не видели?

Вот тут я замолчал уже надолго. Потому что в этом вопросе было слишком много слоев. Не видел — да. Давно — да. Но дело было не только в расстоянии и времени.

— Давно, — сказал я наконец.

Она кивнула, не пытаясь вытащить больше. Потом тихо произнесла:

— Я тогда правда подумала про вас плохо.

— Знаю.

— И вы, наверное, имели право обидеться.

— Не имел, — сказал я. — Молодые женщины слишком часто сталкиваются с тем, что внимание оказывается не тем, чем кажется на словах. Так что осторожность — это не вина.

Она посмотрела на меня как-то по-новому. Уже не снизу вверх, как на старшего. И не в сторону, как на неловкого чужого человека — а прямо, с уважением, которого раньше не было.

— И все равно, — сказала она, — мне стыдно.

Я чуть пожал плечами.

— Переживете.

Она усмехнулась.

— Вы всегда так утешаете?

— Только тех, кто мне не безразличен.

Фраза вырвалась сама собой, и я сразу понял, насколько она двусмысленна. Но на этот раз Вероника не напряглась.

Потому что теперь уже знала контекст.

— Я поняла, — сказала она мягко.

И впервые в ее голосе не было ни защиты, ни неловкости. Только спокойствие.

После этого она начала смотреть на меня иначе не в одном каком-то ярком эпизоде, а в мелочах.

Если я приходил с утра бледнее обычного, спрашивала:

— Сегодня нога?

Или:

— Спина?

Если задерживалась у автомата, могла взять мне бутылку воды и молча поставить рядом. А если я слишком долго возился с тяжелой коробкой, уже не отбивалась резко от помощи, а звала кого-нибудь из ребят:

— Помогите Глебу Валентиновичу, там неудобно одному.

Она не превращалась в заботливую дочь, и это было хорошо. Между нами, не возникало поддельной близости. Просто в ее отношении появилось то редкое, взрослое качество, которое стоит дороже симпатии: понимание чужой боли без любопытства и без попытки присвоить ее себе.

Ася, конечно, заметила перемены первой.

— Ну что, — сказала она однажды Веронике так, чтобы я не слышал, но я все равно услышал, — я же говорила: не клеится он к тебе.

Вероника ответила почти шепотом:

— Да знаю я уже.

— И?

— И мне теперь ужасно неловко.

— Это хорошо, — бодро сказала Ася. — Значит, человек в тебе еще не умер.

Я едва не рассмеялся прямо у кофейного аппарата.

Наверное, окончательно что-то изменилось в тот вечер, когда я случайно обмолвился о дочери чуть больше, чем собирался.

Мы остались почти одни на этаже. Вероника сортировала бумаги у стола, я проверял картриджи.

— Она была на меня похожа? — спросила она вдруг.

Я замер.

— Кто?

— Ваша дочь.

Я смотрел на открытый принтер, но видел, конечно, не его.

— Да, — сказал я. — Иногда до невозможности.

— Поэтому вам, наверное, было... трудно.

— Было, — ответил я. — И есть.

Она долго молчала. Потом сказала очень просто:

— Тогда я рада, что вы все-таки не стали меня избегать совсем.

Я поднял голову.

— А я думал, это вы меня избегали.

Она улыбнулась — уже по-настоящему, без прежней скованности.

— Сначала да.

— А теперь?

Она чуть пожала плечами.

— А теперь я просто понимаю, что не все выглядит так, как кажется вначале.

Это было сказано о многом: обо мне, о ней самой, о том первом впечатлении, которое так легко делается окончательным, если не дать себе возможности увидеть человека глубже.

Я кивнул.

— Это полезное знание.

— Дорогое только, — сказала она.

— Все полезное дорогое.

Она ничего не ответила, но посмотрела на меня тепло. Не по-дочернему. Не как на старика.

Не как на неловкого человека, которого надо жалеть. А как на мужчину с тяжелой жизнью, в котором она наконец увидела не угрозу и не странность, а просто человека.

И, пожалуй, именно это было самым важным. Потому что жалость унижает. Вина быстро проходит. А вот такое тихое человеческое уважение остается.

С тех пор она все еще держала дистанцию — разумную, рабочую, естественную. Но в этой дистанции больше не было стены.

Если раньше между нами стояло ее: «не подходите ближе», то теперь было другое: «я понимаю, почему вы были таким». А это, пожалуй, меняет почти все. Не делает людей родными. Не стирает неловкость полностью. Не лечит старые раны. Но возвращает достоинство там, где еще недавно был только стыд.

И однажды, когда я снова по привычке сказал ей:

— Наденьте хоть шарф, там ветер, — она уже не вскинулась и не отвернулась.

Только закатила глаза и ответила:

— Хорошо, Глеб Валентинович. Только не думайте, что я от этого внезапно стала послушной дочерью.

Я усмехнулся.

— Упаси бог.

— Вот и договорились.

Она ушла к лифту, на ходу наматывая шарф на шею. А я смотрел ей вслед и думал, что, наверное, это и есть максимум, на который можно надеяться в подобных случаях: не близость, не замещение утраты, не новая привязанность взамен старой, а всего лишь то, что однажды

человек, которого ты нечаянно напугал своей болью, сумел эту боль разглядеть — и не отвернулся.

Глава 9

На следующей неделе Андрей Михайлович уехал из города.

Он уезжал спокойно, без лишней суеты: оставил распоряжения, проговорил с охраной рабочие мелочи и, как всегда, передал банк Веронике. Не впервые. Она уже замещала его раньше, и все в отделении к этому относились как к чему-то совершенно естественному.

— Если что — звони, — сказал он ей на прощание.

— Если что, сама разберусь, — ответила она с привычной суховатой уверенностью.

Он только усмехнулся.

Я в тот момент как раз ставил у стены новую упаковку бумаги и невольно посмотрел на нее. Вероника держалась спокойно. Собранно. Без лишнего пафоса. Как человек, который не играет в начальство, а просто берет на себя ответственность, потому что умеет.

Мне это в ней нравилось. Хотя я давно уже запретил себе слишком часто замечать, что именно мне в ней нравится.

На следующий день все было почти как обычно. Шум клавиатур. Телефоны. Короткие совещания. Чей-то смех в коридоре. Кофе, бумага, подписи, клиенты, охрана у входа, автомат с батончиками, который опять заедал.

К обеду я был на первом этаже, разбирался с ящиком для расходников, когда сверху внезапно донесся звук, который не спутать ни с чем.

Крик.

Потом еще один. Потом глухой хлопок, и почти сразу — второй. Не сразу верилось, что это выстрелы. Мозг несколько долгих секунд пытался подобрать для них другое, более безопасное объяснение. Упал стеллаж. Хлопнула тяжелая дверь. Разбилось что-то крупное.

Но потом закричали уже по-настоящему. И банк за несколько секунд перестал быть банком.

Он стал ловушкой.

Сверху по лестнице кто-то бежал вниз, потом обратно, послышался мужской мат, истерический женский голос, резкий приказ:

— Всем на пол! Лицом вниз! Не дергаться!

Еще выстрел.

Где-то рядом разбилось стекло. Я резко выпрямился. Сердце ударило так, что на миг потемнело в глазах. Из клиентского зала уже неслись крики, плач, тяжелые шаги. Кто-то ломился к служебному выходу, но тут же раздавался оглушительный рев:

— Стоять! Назад!

Вооруженное нападение. Эта мысль пришла ледяной ясностью.

Я рванулся было к коридору, но почти сразу остановился и прижался к стене. По холлу пробежали двое в масках, с автоматами. Один пнул ногой перевернутый стул, другой что-то крикнул охраннику. В следующую секунду раздавался удар, и я уже не видел, что там произошло.

Где-то успели нажать тревожную кнопку — это стало ясно минут через десять или пятнадцать, когда снаружи донеслись первые сирены. Потом еще. И еще.

Банк взяли в кольцо. Но внутри это ничего не меняло. Налетчики нервничали, кричали друг на друга, металась по этажам. Им явно нужно было что-то конкретное, и чем дольше они не находили это, тем злее становились.

Я прятался в служебном проходе у лестницы, слышал обрывки приказов и ждал момент, когда можно будет хотя бы понять, где Вероника.

Почему-то в ту минуту я думал только о ней. Не о себе. Не о милиции. Не о том, выберусь ли вообще отсюда. Только о том, где она и жива ли.

Потом я услышал ее голос. Не слова даже — просто интонацию. Резкую, напряженную, сдержанную. Я поднялся на этаж выше и осторожно подошел по коридору. Дверь их кабинета была распахнута настежь.

То, что я увидел внутри, врезалось в меня сразу, целиком. Ася лежала на полу возле стола — неестественно тихая, с разметавшимися волосами. Видимо, попыталась ударить одного из нападавших тем, что попало под руку, и получила прикладом по голове.

Вероника стояла у стены. Возле нее — двое.

Один держал автомат небрежно, почти лениво, будто уже считал дело сделанным. Второй был злее, дерганее, и именно он говорил:

— Открывай кабинет своего шефа.

Вероника молчала.

— Ты здесь главная, да? — Он шагнул к ней. — Не строй из себя дуру.

— Я ничего не знаю, — сказала она. — Зачем это вам? — в ее голосе еще держалась ровность, но я видел, как побелели ее пальцы.

— Там, в сейфе, лежит то, что нам нужно.

— Я не знаю ни о каком сейфе.

— Не ври мне, сучка, — прошипел он. — Ты все знаешь.

Она только покачала головой. Тогда он поднял ствол чуть выше.

— Я сейчас тебе руку отстрелю. Поняла? Ало, ты меня вообще слушаешь? Мне нужно то, что лежит в его сейфе. Открывай дверь. Ну, хорошо, я обещаю, что останешься жива. И твоя подружка тоже. Когда очнется.

Он врал, конечно. Она тоже это понимала. И именно тогда я вошел. Не как герой. Не с планом. Просто потому, что уже не мог стоять в стороне.

— Что здесь происходит? — сказал я, шагнув в кабинет.

Оба резко обернулись. Первый даже не стал тратить время на ответ. Он приблизился ко мне в два шага, посмотрел с коротким презрением и бросил:

— Умри, старик.

Удар в челюсть был сильным и точным. Я рухнул на пол так быстро, что не успел выставить руки. Мир качнулся, во рту сразу появился вкус крови, в ушах загудело. И в ту же секунду я услышал Вероникин крик:

— Что вы делаете, изверги?! Я ничего вам не обязана открывать!

Она бросилась ко мне, опустилась на колени.

— У вас все в порядке?

Я моргнул, пытаюсь собрать зрение.

— Кажется... да.

— Не надо было сюда приходиться, — прошептала она.

Несмотря на страх, в ее голосе вдруг прозвучало что-то почти отчаянно-нежное. Как будто среди всего этого ужаса она на секунду забыла обо всем и увидела только меня — избитого, беспомощного, слишком поздно полезшего на рожон.

— Ну тебе нужна сейчас моя помощь, — выговорил я, сам не зная, зачем это сказал.

Она усмехнулась почти беззвучно — той самой своей нервной, живой усмешкой, которую я уже успел узнать.

— Помощь...

И вдруг быстро, почти бессознательно, наклонилась и коснулась губами моей щеки. Не как женщина мужчине. Не как обещание. Как импульс. Как благодарность. Как прощание. Как последняя человеческая реакция посреди звериного страха.

Второй налетчик грубо схватил ее за ворот и рывком поставил на ноги.

— Отстань от старика! Давай ключ от кабинета босса! Если бы дверь не была бронированная, я бы ее уже сам вынес!

Он продолжал что-то орать. Но я больше почти не слышал слов. Потому что в ту секунду во мне что-то сдвинулось.

Нет — не так.

Во мне что-то включилось. Будто невидимая программа, много лет лежавшая в глубине сознания, получила нужный код. Щелчок. Импульс. Разворот внутренней шестерни.

Поцелуй Вероники стал этим кодом. Перед глазами внезапно поплыли образы — стремительные, яркие, жестокие. Не воспоминания даже, а сначала отдельные вспышки: бетонный подвал; свет операционной лампы; холод металла; люди в форме без знаков различия; голоса за стеклом; инъекции; кровь на белом кафеле; пять коек в ряд; и мы — пятеро.

Добровольцы. Так нам говорили.

Эксперимент спецслужб. Создание универсальных бойцов — не просто солдат, а живых инструментов подавления любого конфликта, любой внутренней войны, которая могла вспыхнуть в стране. Нас ломали, собирали заново, вшивали в мышцы рефлексy, в память — команды, в кости — нечеловеческую выносливость. Из нас делали оружие.

Потом — предательство. Развал страны. Паника наверху. Проект признали слишком опасным. Кого-то уничтожили. Кого-то «запечатали». Меня — законсервировали, как жестяную банку с отсроченной смертью. Даже я не должен был знать, что во мне спит и каким кодом это можно разбудить.

До этой секунды.

До прикосновения ее губ. За одну минуту я вспомнил все.

Все.

Я лежал на полу кабинета, а тело уже перестраивалось само. Боль ушла первой. Потом пришла сила — не абстрактная, а конкретная, физическая, чудовищно ясная. Каждая мышца налилась энергией. Колено, спина, старая усталость — все исчезло, будто их никогда не было.

Я чувствовал себя так, словно мне снова двадцать пять. Словно мои кости отлили из стали. Словно мир вдруг замедлился и наконец стал двигаться в удобном для меня ритме.

Я поднялся.

Слишком быстро для человека моего возраста. Слишком легко для человека, которого только что сбили с ног.

Первый налетчик даже не успел понять, что происходит. Я оказался рядом с ним в два коротких движения, перехватил его шею и резко повернул.

Хруст был сухой и почти будничным. Он осел на пол.

Я уже держал в руках его оружие.

Второй успел только дернуть ствол вверх. Я выстрелил первым. Его отбросило к стене.

Вероника вскрикнула.

Я повернулся к ней на секунду. Она смотрела на меня так, будто перед ней стоял уже не тот человек, которого она знала последние месяцы, а кто-то другой — невозможный, страшный, вышедший из какой-то чужой, спрятанной жизни.

— Закрой дверь, — сказал я.

Голос у меня тоже стал другим. Спокойным до жути.

Я вышел в коридор и пошел убивать остальных.

Потом я долго не мог восстановить последовательность этих двадцати минут. Они смазались в один непрерывный поток движения, выстрелов, ударов, коротких решений. Я знал, где искать. Знал, как заходить в слепые зоны. Знал, как слышать шаги за углом. Знал, как выбивать оружие, как ломать суставы, как стрелять без колебаний. Знал все это так, словно ни одного дня не прошло.

Один в холле. Другой у кассового узла. Третий на лестнице. Четвертый в архивном коридоре. Пятый попытался взять женщину в заложницы — не успел.

Снаружи кричали через мегафон, требовали сдаться. Внутри гремели последние очереди, орали раненые, звенели битые стекла.

Я двигался сквозь этот хаос как механизм, которому вернули питание. И все же внутри, под этой холодной боевой ясностью, жила одна-единственная мысль: Вероника.

Нужно вернуться. Нужно убедиться, что она жива. Когда последний из них упал, я не стал ждать ни милицию, ни объяснения, ни чьих-либо приказов.

Я побежал обратно.

В кабинет я ворвался слишком поздно. Там был еще один. Я не заметил его раньше — то ли он прятался, то ли отстал от своих, то ли просто выжидал.

Он уже стрелял.

Вероника успела метнуться к столу и пыталась укрыться за ним, но одна из пуль все-таки попала в нее. Я увидел, как она дернулась, как соскользнула вниз, хватаясь за край столешницы.

Меня обожгло такой яростью, что на секунду мир просто исчез. Боевик резко повернулся ко мне и открыл огонь.

Наивный.

Я ушел с линии обстрела раньше, чем он закончил первый импульс. Две пули ушли в стену, одна в шкаф, еще одна выбила стекло. Я оказался сбоку, почти у него за плечом, и разрядил в него весь магазин. Только когда его тело рухнуло на пол, я смог вдохнуть.

— Вероника!

Я подлетел к столу и опустился рядом.

Она была в сознании. Бледная. Губы дрожали. На виске прилипла выбившаяся прядь. Пальцы судорожно цеплялись за мой рукав.

— Тише, — сказал я. — Тише. Я здесь.

— Вы... — она пыталась что-то сказать, но воздух сбивался.

— Не говори ничего.

Я поднял ее на руки.

Она оказалась удивительно легкой. И от этого мне стало еще страшнее.

— Потерпи, девочка моя, потерпи, — повторял я, сам не замечая, что говорю вслух. — На улице «скорая» Сейчас. Сейчас.

Я вынес ее в коридор, вниз по лестнице, через холл, мимо выбитых дверей, крови, лежащих тел, опрокинутой мебели, людей, которые смотрели на меня расширенными глазами и не понимали, кто я — спаситель, новый нападавший или безумец.

Потом были входные двери. Холодный воздух.

Сирены.

Милиция снаружи. Снайперы на позициях. Люди в бронежилетах. Команды. Крики:

— Оружие бросить!

— На землю!

— Кто это?!

— Девушку сюда!

Но я уже видел только белые машины скорой. Я добежал до них, и врачи сразу рванули навстречу с каталкой. Осторожно, быстро, профессионально забрали у меня Веронику, уложили, подключили что-то, начали давить, смотреть, резать одежду у раны.

Я стоял рядом, не дыша.

Пока они работали, я вдруг почувствовал, как из тела уходит тот страшный стальной подъем. Сила еще оставалась, но уже не кипела внутри. Вместо нее возвращались усталость, кровь в висках, гул в голове.

Я расслабился.

И именно в этот момент на меня налетели сзади. Двое в милицейской форме заломили руки так резко, что я едва удержался на ногах. На запястьях щелкнули наручники.

— Что вы делаете?! — вырвалось у меня. — Я не налетчик! Я здесь работаю!

— Разберемся, гражданин, — коротко бросил один.

Меня толкнули вперед.

Я обернулся. Каталку с Вероникой уже вкатывали в машину скорой. Дверцы захлопнулись.

На секунду мне показалось, что я снова все потерял — так же внезапно, так же беспомощно, как когда-то раньше.

— Она жива? — крикнул я врачам, но мой голос утонул в сирене.

Никто мне не ответил. Меня повели к милицейской машине. Вокруг мигали маяки. Кто-то фотографировал. Кто-то отдавал команды. Из банка выносили раненых. Тела накрывали темной тканью. Снаружи уже начинала собираться толпа, а я шел в наручниках и понимал только одно: я вспомнил, кто я.

И, возможно, с этой минуты моя старая жизнь закончилась окончательно.

Интерлюдия

Вероника выплывала в сознание медленно, будто со дна мутной, тяжелой воды.

Сначала пришел звук. Монотонный, ровный писк где-то справа. Шорох ткани. Чьи-то приглушенные шаги за дверью. Далекий металлический звон.

Потом — боль.

Не резкая, нет. Глухая, тянущая, распластанная по всему телу, но сильнее всего — в боку, чуть ниже ребер. Боль словно напоминала о себе осторожно, почти вежливо, как будто знала, что рано или поздно ее все равно заметят.

Вероника попыталась вдохнуть глубже — и тут же поморщилась. Горло пересохло. Губы были сухими. Веки казались тяжелыми, как после бессонной ночи, растянутой на несколько суток.

Она открыла глаза.

Белый потолок. Слишком белый.

Палата — не офис. Не пол под столом. Не крики. Не выстрелы.

Больница.

Мысль пришла сразу — и сразу же за ней, как удар током, вернулось все остальное.

Банк.

Люди в масках. Ася на полу. Автомат, направленный в лицо. Его ударили. Она опустилась перед ним на колени. Поцеловала в щеку — почти не думая просто потому, что иначе в ту секунду не могла. А потом...

Потом он встал.

Не так, как должен был встать человек его возраста, да еще после удара.

Не так, как мог встать вообще хоть кто-то.

И дальше все было как в лихорадке: слишком быстро, слишком страшно, слишком невозможно.

Вероника дернулась, пытаясь подняться.

— Тихо, тихо, не надо, — сразу прозвучал женский голос.

Из-за ширмы появилась медсестра — молодая, уставшая, с собранными в пучок волосами. Она быстро подошла к кровати и осторожно надавила ей на плечо.

— Вам нельзя вставать. После операции еще рано.

— Операции?.. — хрипло выдохнула Вероника.

— Вас прооперировали ночью. Вам очень повезло. Пуля прошла опасно близко, но ничего жизненно важного не задела. Понимаете? Повезло.

Вероника смотрела на нее несколько секунд, будто смысл слов проходил слишком долгий путь. Потом пересохшими губами спросила:

— Где он?

Медсестра не поняла.

— Кто?

— Мужчина. Со мной был мужчина. Он вынес меня... из банка. Где он?

Медсестра на миг замялась — и этого было достаточно. Вероника почувствовала, как внутри все резко сжалось.

— Где он? — повторила она уже жестче.

— Вам сейчас нельзя волноваться.

— Где. Он.

Та вздохнула.

— Я не знаю всех подробностей. Вас привезли в тяжелом состоянии. Вас сразу взяли в операционную.

— Он жив?

— Я не знаю.

— Неврите мне, пожалуйста, — сказала Вероника, и голос у нее сорвался. — Если он мертв, так и скажите.

— Да не знаю я! — не выдержала медсестра, но тут же взяла себя в руки. — Простите. Правда не знаю. Вас доставили отдельно. Потом здесь были милиционеры. Много. Что-то спрашивали. Но вас нельзя было допрашивать, вы были без сознания.

Милиционеры. Сердце забилося чаще.

— Они его забрали?

Медсестра отвела взгляд. И Вероника поняла. Не догадалась — именно поняла. Его не увезли как пострадавшего. Его забрали.

— Куда? — тихо спросила она.

— Мне никто не докладывает такие вещи.

Вероника закрыла глаза на секунду.

Перед внутренним взглядом сразу вспыхнуло: кровь на полу, его лицо, когда он подбежал к ней; руки, поднимающие ее так бережно, будто она была не взрослой женщиной, а чем-то хрупким, что нельзя уронить ни при каких обстоятельствах.

И еще — его голос: *Потерпи, девочка моя, потерпи...*

Она снова открыла глаза.

— Мне нужно знать, куда его увезли.

— Вам сейчас нужно лежать спокойно.

— Он спас мне жизнь.

— Я не спорю.

— Тогда позовите того, кто знает.

— У вас температура, швы, кровопотеря, — устало сказала медсестра. — И если вы сейчас начнете рваться с кровати, то снова окажетесь в перевязочной. Пожалуйста, не делайте глупостей.

Вероника смотрела на нее еще несколько секунд, потом откинулась на подушку. Медсестра, видимо, решила, что победила, поправила капельницу и уже собралась выйти, когда Вероника хрипло сказала ей вслед:

— Если придут милиционеры, я буду говорить только после того, как узнаю, что с ним.

Та обернулась.

— Это плохая идея.

— А мне сейчас не до хороших.

Через какое-то время — может, через полчаса, а может, через час, — в палату вошел врач. Невысокий, седой, в очках, с профессионально спокойным лицом человека, который слишком часто видит чужую боль, чтобы каждый раз пугаться. Он проверил зрачки, пульс, задал несколько вопросов.

Как зовут.

Какой день помнит последним.

Где болит сильнее.

Не кружится ли голова.

Вероника ответила почти на все.

Потом прямо спросила:

— Меня будут допрашивать?

Врач посмотрел на нее поверх очков.

— С вами захотят побеседовать, это да.

— И вы их пустите?

— Если ваше состояние позволит.

— А если не позволит?

— Тогда позже.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда сейчас вы мне скажете, куда увезли мужчину, который меня спас.

Врач замолчал.

— Значит, знаете, — сразу поняла она.

— Я знаю лишь то, что его задержали.

Слова упали в палату тяжело, как железо.

— Задержали? — переспросила Вероника. — За что?

— Это уже не ко мне.

— Он убил тех людей, потому что иначе они бы убили нас!

— Вероника...

— Вы были там? — Ее голос стал громче. — Вы видели, что там происходило? Вы видели, как они стреляли по людям? Видели, как он меня вынес?

Врач оглянулся на дверь, словно опасаясь, что ее услышат в коридоре.

— Успокойтесь.

— Нет, вы мне ответьте.

— Я врач, а не следователь.

— Тогда позовите следователя.

— Не сейчас.

— Почему?

Он помедлил.

— Потому что, насколько я понимаю, там все... не так просто.

Она замерла.

— Что значит — не так просто?

Врач вздохнул, будто уже пожалел, что сказал лишнее.

— Я сказал ровно столько, сколько мог. Вам лучше беречь силы. В вашем состоянии.

— В каком отделении он?

— Я не знаю.

— В какой изолятор его повезли?

— Я не знаю.

— Он ранен?

На этот вопрос врач не ответил.

И это молчание напугало ее сильнее любых слов.

— Он был ранен? — повторила Вероника уже совсем тихо.

— Насколько мне известно, серьезных повреждений у него не зафиксировали.

Странная формулировка: не «не было», а «не зафиксировали»

Она уловила это сразу.

— Что это значит?

Но врач уже сделал шаг к двери.

— Это значит, что вам нужно спать.

— Я не буду спать.

Он посмотрел на нее устало и почти сочувственно.

— Будете. Ваш организм решит за вас.

И вышел.

К вечеру к ней пустили Асю. Та вошла осторожно, с забинтованной головой, бледная, злая и удивительно — живая. Увидев ее, Вероника вдруг едва не расплакалась — не от слабости даже, а от резкого, невыносимого облегчения.

— Живая, — выдохнула Ася и попыталась улыбнуться. — Ну слава богу. А то я уже думала, ты решила красиво от меня отделаться.

— Идиотка, — почти шепотом сказала Вероника.

— Это взаимно.

Ася подошла ближе, села на стул у кровати и на секунду зажмурилась, будто ей самой тяжело было держаться вертикально.

— Тебе сильно больно?

— Терпимо. А тебе?

— У меня башка как после встречи с кирпичом. Что, в общем, недалеко от истины.

Несколько секунд они молчали. Потом Вероника спросила сразу, без подготовки:

— Куда его увезли?

Ася не переспросила. Сразу поняла, о ком речь. И лицо у нее изменилось.

— Так, — медленно сказала она. — Значит, ты уже в сознании достаточно, чтобы именно это спросить.

— Ася.

— Сначала ты мне скажешь: ты вообще понимаешь, что произошло?

— Да.

— Нет, не понимаешь. Потому что, если бы понимала, ты бы сейчас не так спокойно лежала.

— Я не спокойно лежу, — резко ответила Вероника. — Я пытаюсь не сорвать себе швы. Куда его увезли?

Ася потерла висок.

— Сначала приехала милиция. Потом какие-то другие. Не в форме. Очень неприятные. Знаешь, такие, у которых лица как будто специально сделали без выражения.

У Вероники пересохло во рту.

— И?

— И все вокруг вдруг начали говорить шепотом. Нас, кто мог говорить, опрашивали отдельно. Меня два раза. Один обычный следователь. Второй — какой-то вообще непонятный тип. Спрашивал только про него.

— Что именно?

— Как он двигался. Когда я заметила у него оружие. Было ли оружие у него до нападения. Знала ли я его раньше. Видела ли я, как он убивал.

Последнее слово повисло между ними. Вероника медленно выдохнула.

— И что ты сказала?

— Правду. Что он нас спас.

— И что дальше?

— И тип с лицом покойника спросил: «Это ваша эмоциональная оценка. А фактически?»

Я чуть в него тапком не кинула.

Несмотря на все, Вероника коротко, болезненно усмехнулась.

— Куда его забрали, Ася?

Та наклонилась ближе и понизила голос:

— Сначала его посадили в милицейскую машину, это видели все. Но до отделения он, похоже, не доехал.

— В смысле?

— В прямом. Следователь проболтался, что «гражданин передан в другую структуру».

Я спросила в какую, он сделал вид, что не слышит.

Вероника почувствовала, как холод проходит по спине.

— Другую структуру...

— Вероника, — тихо сказала Ася, — я не знаю, кто он.

Она хотела ответить резко, сразу. Сказать: *я тоже не знаю*. Но не смогла. Потому что это было уже не совсем правдой.

Она действительно не знала его прошлого. Не знала, что именно с ним произошло там, в банке. Не знала, кем он был до того, как появился в их жизни усталый, сдержанный, неловкий, вечно старающийся помочь. Но одно она знала точно: он не был чудовищем. Не был преступником. Не был тем, за кого его теперь, похоже, собирались выдать.

— Я хочу дать показания, — сказала она.

— Дашь.

— Нет. Сейчас.

— Сейчас ты не встанешь даже до туалета без подвига.

— Тогда позови следователя сюда.

Ася посмотрела на нее долгим взглядом.

— Ох ты господи, — пробормотала она. — Вот в кого ты такая упертая.

— Ася.

— Да поняла я.

— И еще...

— Что?

— Если Андрей Михайлович вернулся — пусть приедет.

— Уже едет. Как только узнал, чуть самолет, наверное, не перевернул.

— Хорошо.

Ася встала, но задержалась у кровати.

— Ты из-за него так, да?

Вероника медленно повернула к ней голову.

— Как?

— Как будто тебе кислород перекрыли.

Она долго молчала. Потом ответила честно:

— Я не знаю, что с ним сделали. И хуже всего — я не уверена, что мне вообще хотят это говорить.

Ася вздохнула.

— Ладно. Я попробую что-нибудь выяснить.

— Не «что-нибудь». Выясни.

— Есть, товарищ начальник банка.

И вышла.

Ночью Вероника почти не спала. Стоило закрыть глаза, как возвращался тот кабинет.

Разбитое стекло.

Ася на полу.

Ствол, направленный на нее.

Его кровь на губах после удара.

Ее собственный глупый, отчаянный поцелуй.

А потом — тот взгляд.

Она снова и снова вспоминала, как изменилось его лицо в следующую секунду. Не внешне даже. Глубже. Будто из человека, которого она знала, вдруг проступил кто-то другой — страшнее, сильнее, древнее, чем обычная человеческая ярость. Но ведь, если бы не это, она бы не выжила. Эта мысль не отпускала.

Под утро в палату вошел следователь. Молодой, гладко выбритый, подчеркнута вежливый. За ним — второй. Постарше, молчаливый, с непроницаемым лицом. Тот самый тип, каких Ася назвала «с лицом покойника»

Вероника посмотрела сначала на одного, потом на другого и сразу сказала:

— Прежде чем я начну отвечать, вы скажете мне, куда увезли Глеба Валентиновича.

Молодой открыл папку.

— Нам нужно уточнить обстоятельства нападения.

— Нет. Сначала вы ответите на мой вопрос.

— Это не относится к делу.

— Относится напрямую. Он спас сотрудников банка. Он спас меня. И я хочу знать, где он находится.

Молодой следователь явно хотел что-то сказать по инструкции, но второй его остановил едва заметным движением руки. А потом заговорил сам. Голос у него был спокойный, почти бесцветный.

— Гражданин, о котором вы говорите, находится там, где с ним работают компетентные люди.

Вероника почувствовала, как внутри все стынет.

— Что значит «работают»?

— Проводят проверку.

— Какую еще проверку?

— Стандартную.

— После того как он вынес раненую женщину под пулями? После того как остановил вооруженное нападение?

— Именно поэтому, — сказал тот.

Тишина в палате стала почти звенящей. Вероника смотрела на него, не моргая.

— Тогда записывайте, — произнесла она медленно. — Я заявляю официально: этот человек не был соучастником нападения. Он защищал сотрудников банка и заложников. Все, что он сделал, он сделал, спасая людей.

Молодой наконец взял ручку.

— Мы это зафиксируем.

— И еще зафиксируйте, — добавила она, и голос ее стал тверже, чем самочувствие позволяло, — что без него я была бы мертва.

Второй следователь чуть склонил голову, словно запоминал не слова, а ее саму.

— Почему вы так уверены в нем? — спросил он.

Вероника ответила не сразу. Потому что честный ответ звучал бы слишком странно: *потому что я видела, как он смотрел на меня, когда думал, что я умираю.*

Вместо этого она сказала:

— Потому что преступники не выносят раненых под огнем. Не просят их молчать, чтобы не тратить силы. И не возвращаются за ними, если могут уйти.

Молчаливый следователь слегка прищурился.

— Вы очень эмоциональны.

— А вы слишком спокойны.

Молодой дернулся, будто ожидал резкости, но второй только сказал:

— Возможно.

— Я хочу адвоката, если вы собираетесь превращать его в обвиняемого.

— Речь пока не идет об обвинении.

— Тогда скажите, где он.

— Не могу.

— Не хотите, — поправила она.

Он не ответил.

— Хорошо, — сказала Вероника. — Тогда слушайте внимательно. Я подпишу показания. Подтвержу каждое слово. И если с ним что-то случится, я подниму на уши всех — от руководства банка до прокуратуры. Вы меня поняли?

Молодой следователь растерянно опустил глаза в бумаги, а второй смотрел на нее с тем же бесстрастным интересом, но теперь в нем появилось что-то еще.

Оценка.

Как будто он пытался понять, насколько далеко она действительно готова зайти.

— Понял, — сказал он наконец.

— Прекрасно. Тогда начинайте записывать.

Когда они ушли, Вероника откинулась на подушку и только теперь позволила себе закрыть глаза. Сил почти не осталось. Бок горел. В голове шумело. Пальцы дрожали.

Но внутри этой слабости, под страхом, под болью, под ужасом от того, что она увидела в банке, уже начинало медленно затвердевать что-то новое.

Нет — не паника, не растерянность, а решимость. Что бы он ни скрывал. Кем бы ни был раньше. Что бы ни произошло с ним в тот момент, когда она его поцеловала, — он не должен был исчезнуть просто потому, что кому-то так удобнее.

Вероника повернула голову к окну. За стеклом был блеклый, больничный, холодный день. И впервые с той минуты, как очнулась, она подумала не только о том, где он сейчас, а о том, что, возможно, вытаскивать его придется уже ей.

Глава 10

Месяц в больнице показался Веронике длиннее целой зимы.

Тело поправлялось быстрее, чем душа. Рана заживала, врачи уже говорили осторожно-ободряющим тоном, что самое опасное позади. Ася приходила почти каждый день и приносила то апельсины, то сплетни, то раздражающе бодрые замечания, чтобы Вероника не раскисала окончательно. Но стоило палате опустеть, стоило закрыться двери и стихнуть шагам в коридоре, как все возвращалось.

Банк. Выстрелы. Кровь. Глеб.

И одна мысль, которая с каждым днем становилась все тяжелее: *его могут осудить*. Не как героя. Не как человека, спасшего заложников. А как убийцу.

Да, налетчики пришли с автоматами. Да, они стреляли. Да, они не оставили бы в живых ни ее, ни Асю, ни многих других. Но Глеб ведь не просто отбивался. Не закрывал собой людей и не ждал помощи. Он шел по коридорам банка и уничтожал тех, кто там оставался. Быстро. Холодно. Страшно. Так, словно делал это не впервые.

Вероника ненавидела себя за эту мысль, но отделаться от нее не могла. Именно так все и увидят следователи. Именно так это может выглядеть в деле. Не спасение. Не подвиг. А серия убийств.

Когда следователи приходили к ней в больницу, она раз за разом повторяла одно и то же:
— Если бы не он, мы бы погибли.

— Он защищал заложников.

— Он спас мне жизнь.

Но даже произнося это, она чувствовала, как внутри поднимается холодный, липкий страх. Законы, протоколы, формулировки, экспертизы — все это могло обернуться против него. Особенно если кому-то наверху так было выгоднее.

О нем почти ничего не сообщали. Сначала — «идет проверка», потом — «сведения закрыты», а позже ей и вовсе начали отвечать вежливым молчанием. И молчание оказалось страшнее любых слов.

По ночам Веронике снился суд. Сон приходил почти один и тот же, менялись только лица.

Она видела длинный, темный зал. Высокие потолки. Тяжелые шторы. Чьи-то сухие, бесстрастные голоса. Глеб стоял далеко, за деревянным ограждением, в чужой серой одежде, не такой, в какой она привыкла его видеть. Он стоял прямо, не оправдывался, не просил, не спорил — просто смотрел куда-то поверх всех.

А потом звучали слова приговора. Страшные, официальные, будто выбитые из камня:

— ...приговорить к высшей мере наказания...

И в этот момент она каждый раз пыталась закричать, но не могла. Во сне у нее не было голоса.

Она просыпалась в поту, хваталась за простыню, чувствуя, как бешено колотится сердце, и долго лежала в темноте, пока не начинало светать. Иногда в такие минуты ей казалось, что страшнее пули — только беспомощность. Когда человек уже спас тебе жизнь, а ты не можешь даже узнать, жив ли он сам.

Ася пыталась ее подбадривать.

— Раз не сообщили о худшем, значит, все еще не худшее, — сказала она однажды, усаживаясь на стул у койки и аккуратно трогая свою уже почти зажившую шишку на голове. — У нас в стране если хотят человека похоронить, обычно тянут не так долго. Тут, значит, что-то мутят.

— Очень обнадеживающе, — сухо ответила Вероника.

— А я и не психолог. Я практик. Думаю, будем вытаскивать.

— Откуда?

Ася пожала плечами:

— Для начала из следственного изолятора. А там посмотрим.

Именно так Вероника начала думать о будущем: не *если*, а *как*. Как искать адвоката. Как подключать руководство банка. Как собирать показания сотрудников. Как объяснить всем, что Глеб не нападал — он спасал.

Она проговаривала это мысленно, как план действий. Это помогало не сойти с ума.

Когда врачи наконец разрешили выписку, Вероника почти не слушала их наставлений.

Не поднимать тяжести.

Избегать стресса.

Беречь швы.

Не возвращаться сразу к полному рабочему графику.

Она кивала, соглашалась, подписывала бумаги — и уже знала, что утром поедет в банк. Ей нужно было на работу не потому, что соскучилась по бумагам, клиентам и совещаниям. Ей нужно было поговорить с Асей не в больничной палате, а нормально, по-человечески. Сесть в кабинете, закрыть дверь и решить, что они будут делать дальше. К кому идти. Кого поднимать. Как вытаскивать Глеба.

Утром она одевалась дольше обычного. Слабость еще ощущалась, движения отдавались в боку тянущей болью, но внешне она постаралась быть собранной. Даже слишком. Словно аккуратная прическа и строгий костюм могли вернуть ей контроль над жизнью.

В банке ее встретили так, будто вернулся человек с того света. Кто-то ахнул, кто-то бросился обнимать, а кто-то растерянно улыбался. Охранник у входа вытянулся так, словно хотел отдать честь. Вероника принимала это все почти механически. Благодарила, кивала, отвечала на вопросы, но мысленно уже поднималась по лестнице к своему кабинету.

Ася должна была быть там. Наверняка уже ждала. Наверняка у нее были хоть какие-то новости.

Вероника почти не шла — летела. Слишком быстро для человека после месяца в больнице. Бежала, забывая про слабость и врачебные запреты. В коридоре ей даже пришлось при тормозить, потому что в боку кольнуло так сильно, что на секунду потемнело в глазах.

Но она все равно дошла. Толкнула дверь. И замерла на пороге.

Возле ее стола, чуть наклонив голову, совершенно спокойно стоял Глеб и менял картридж в принтере. Как будто не было никакого налета. Никакого месяца неизвестности. Никаких следователей, больницы, кошмаров, бессонных ночей.

Как будто он просто вышел вчера в соседний кабинет и сейчас вернулся закончить работу. Он был в своей обычной одежде. Спокойный. Собранный. Почти будничный. И только в этом будничном спокойствии было что-то настолько невероятное, что Вероника несколько секунд просто не могла поверить собственным глазам.

Глеб поднял голову, увидел ее — и в его взгляде мелькнуло что-то очень тихое, очень теплое, почти сразу спрятанное за привычной невозмутимостью.

— Вы?.. — только и смогла произнести Вероника.

Он чуть усмехнулся, защелкнул крышку принтера и вытер руки салфеткой.

— А ты кого-то другого ожидала здесь увидеть?

Она сделала шаг в кабинет, потом еще один, будто боялась, что, если моргнет или подойдет слишком резко, он исчезнет.

— Даже никто мне не сказал, что вы вернулись на работу.

— Значит, переживала за меня?

Он сказал это легко, почти шутя, но смотрел внимательно. Вероника опустила глаза, словно на столе внезапно нашлось что-то чрезвычайно важное.

— Я просто хотела поблагодарить вас за то, что спасли мою жизнь.

— Хорошо, принимается, — кивнул он. — Еще тогда, в этом кабинете я не солгал: тебе действительно была нужна моя помощь.

И только теперь она по-настоящему улыбнулась. Слабо, устало, но уже без той ледяной тяжести, что таскала в себе целый месяц.

— Это точно, — сказала девушка. — И еще не раз понадобится. Может, научите меня паре приемчиков рукопашного боя?

Он посмотрел на нее дольше обычного. Потом отвел взгляд к принтеру, словно проверяя, правильно ли встал картридж.

— Только если не будешь ни о чем меня спрашивать.

Улыбка на ее лице дрогнула, но не исчезла.

Она поняла. О том, где он был все это время. О том, кто его отпустил. О том, что на самом деле произошло в банке и кем он был до того дня.

Об этом спрашивать нельзя. Не сейчас. А может быть, никогда.

И странное дело — еще месяц назад такая недосказанность свела бы ее с ума. Но теперь, глядя на него живого, стоящего в ее кабинете и возящегося с упрямой техникой, она вдруг почувствовала не любопытство, а облегчение.

Иногда достаточно знать главное, что человек вернулся. Что он не сломан. Что его не заперли навсегда за железной дверью. Что кошмары были только кошмарами.

В этот момент в кабинет, как всегда без стука, влетела Ася — с папкой, недовольным лицом и готовой репликой, которую она так и не успела произнести.

Она увидела Глеба, потом Веронику, потом снова Глеба.

— Так, — сказала она после долгой паузы. — Пока я тут, значит, строила планы по штурму следственного изолятора, вы уже спокойно чините принтеры?

— Не чиню, а обслуживаю, — невозмутимо ответил Глеб.

— Конечно, — фыркнула Ася. — Я так и поняла. Очень удобная у вас манера исчезать и появляться.

— Рабочая необходимость, — сказал он.

— Очень хотелось бы однажды узнать, где вас этому учили, — пробормотала она.

Глеб посмотрел на нее так спокойно, что Ася тут же подняла руки:

— Все-все. Молчу. Я же вижу: сегодня день чудес и недосказанностей.

Вероника тихо рассмеялась. Впервые за весь этот месяц — по-настоящему. Без боли в горле. Без дрожи. Без страха, что смех через секунду сорвется в слезы.

Она подошла к своему столу, медленно села в кресло и посмотрела на кабинет так, словно видела его впервые. Все было на месте: папки, ручки, телефон, стопка документов, даже тот самый упрямый принтер. Мир, который казался разрушенным, неожиданно снова собрался по кускам.

Не прежним — нет. После всего пережитого он уже не мог быть прежним. Но, может быть, в этом и был смысл. Иногда жизнь не возвращает тебе то, что было. Она дает что-то другое — более сложное, более тревожное, но настоящее.

Глеб поднял с пола пустую коробку от картриджа и направился к двери.

— Куда вы? — слишком быстро спросила Вероника.

Он остановился.

— Выбрасывать улику, — серьезно ответил он.

Ася закатила глаза.

— Господи, ну хоть чувство юмора у человека осталось.

Глеб едва заметно улыбнулся и уже у порога обернулся к Веронике:

— После работы не передумала насчет приемов?

— Нет, — ответила она сразу.

— Тогда надень что-нибудь удобнее, чем этот начальственный доспех.

— А вы не командуйте, — сказала она, и в голосе ее впервые за долгое время появилась прежняя живая твердость.

— Уже поздно, — отозвался он. — Я, кажется, снова втянулся.

Он вышел. Ася медленно повернулась к Веронике.

— Ну? — спросила она.

— Что — ну?

— Ты сейчас выглядишь так, будто тебе либо снова больно, либо наоборот.

Вероника провела ладонью по лицу и вдруг поняла, что улыбается.

— Наоборот, — сказала она.

За окном шел обычный рабочий день. Внизу принимали клиентов, звонили телефоны, кто-то в коридоре спорил из-за ведомостей, жизнь банка с привычным упрямством шла дальше. И вместе с ней — их жизнь тоже.

Да, у Глеба оставались тайны. Да, в его прошлом было что-то темное, тяжелое и явно опасное. Вероника еще не раз поймает себя на желании задать вопросы, на которые он не ответит.

Но это все будет потом.

А сейчас он был здесь. Живой. Свободный. Рядом.

И этого оказалось достаточно, чтобы впервые за долгое время будущее перестало пугать ее. Потому что, если он действительно согласится учить ее драться, а она действительно научится не задавать лишних вопросов, — у этой странной истории, начавшейся с крови, выстрелов и страха, может быть, впереди окажется совсем другая жизнь.

Не спокойная. Не простая. Но их.

Часть 2 Вехи памяти

Глава 1

Глеб сидел за решеткой в следственном изоляторе и слушал. Это было сейчас важнее всего: слушать, запоминать, не торопиться.

Его держали отдельно от остальных. Камера была не столько камерой, сколько странным гибридом тюремного бокса и кабинета для особо опасного, но пока не до конца понятного объекта. Напротив решетки, за тяжелым столом, круглосуточно сидел вооруженный офицер. Его меняли по сменам, но стол не пустовал никогда. На нем стоял телефон, лежали папки, графин с водой, пепельница, хотя никто не курил, и лампа с зеленым абажуром, дававшая мягкий, почти домашний свет, от которого вся эта обстановка становилась еще более нелепой.

Телефон звонил часто.

Иногда — каждые десять минут.

Офицер снимал трубку, слушал, отвечал коротко и сухо:

— Да.

— На месте.

— Спокоен.

— Нет, без изменений.

— Ничего не просил.

— Нет, не спит.

— Сейчас лежит.

— Да, под наблюдением.

Глеб лежал на нарах, заложив руки под голову, и вслушивался в каждый такой разговор. Он уже понял главное: бояться не того, что он расскажет. Боятся того, что он может сделать. Это было даже немного забавно.

Если бы он захотел, он действительно мог бы встать, подойти к решетке, дождаться нужного движения, нужной паузы, нужного угла обзора — и уйти отсюда. Теперь, когда тело снова вспомнило то, что когда-то умело, побег был бы не самым сложным в его жизни действием.

Но это было бы неправильно. Слишком рано себя раскрывать. Слишком грубо.

Слишком заметно. И главное — вопросов к нему сразу стало бы куда больше, чем сейчас.

Пока что все складывалось почти в его пользу.

На допросы его не вызывали. Формально — потому что «состояние не позволяет». Неформально — потому что никто, кажется, не понимал, как именно с ним разговаривать. Если требовалось что-то уточнить, спрашивали прямо через решетку, не входя в камеру, будто опасались даже близости. И он отвечал им одно и то же.

Коротко. Сухо. Почти старчески беспомощно.

— Нет, не знаю.

— Не был.

— Защищал служащих банка.

— Сам не могу понять, как это получилось.

— Пытался стрелять по ногам, но автомат почему-то бил выше.

И это проходило. Почти всегда проходило. Потому что перед ними был не боевой механизм, не подготовленный человек с провалами в биографии и не призрак закрытой программы. Перед ними был старик. Усталый. Седой. Не очень-то складный. И явно сам до конца не понимающий, как выжил.

Удобный образ.

Глеб не мешал им в него верить. Он лежал, прикрыв глаза, когда внезапно почувствовал перемену. Не звук, не движение — напряжение.

Офицер за столом сидел иначе, чем минуту назад. До этого он лениво барабанил пальцами по столешнице из мореного дуба и выглядел человеком, которого давно утомила собственная служба. Теперь же в нем появилось что-то нервное, колючее. Он несколько раз посмотрел на Глеба, потом в сторону двери, затем на бумагу, лежащую перед ним.

Глеб не шевельнулся. Только прислушался еще внимательнее.

Офицер прочитал приказ снова. Потом еще раз. Лицо его стало таким, словно документ пришел не из ведомства, а прямо с неба — и подписан там чем-то гораздо более тяжелым, чем простая должностная фамилия.

Он еще раз посмотрел на Глеба. Слишком внимательно. Потом с силой ударил кулаком по столу, так что подпрыгнула лампа, и рывком сорвал трубку телефона.

— Аллю? — рявкнул он. — Копию приказа получил? Что делать, идиот? Выпускать?

Последнее слово прозвучало так, будто он сам не верил, что его произносит. Глеб медленно сел на нарах. Внутри было спокойно. Значит, наверху решили. Значит, чья-то рука оказалась тяжелее всех местных подозрений, экспертиз и рапортов.

Через некоторое время за ним пришли.

Без лишних слов.

Без извинений.

Без объяснений.

Ему вернули ремень, документы и старое пальто. Один из сотрудников даже избегал смотреть ему в глаза. Другой, наоборот, поглядывал слишком часто, явно пытаясь понять, что же в этом человеке такого, из-за чего целый изолятор вдруг поставили на уши.

Глеб ничего не спрашивал. Если тебя выпускают таким приказом, вопросы лучше задавать не тем, кто открывает дверь.

На улице было холодно и неожиданно свежо. Он вдохнул полной грудью и на секунду замер, привыкая к воздуху свободы, в котором не было ни запаха железа, ни тюремной известки, ни напряжения, оседающего на коже.

Потом поехал в реабилитационный центр.

Это было нужно не только ради порядка. Ему хотелось убедиться, что там все по-прежнему, что прежняя жизнь, в которой он существовал до банка, окончательно не растворилась. Он немного поговорил со своим соседом — почти ни о чем, о погоде, о еде, о том, что в коридоре сквозит и медсестры опять ругаются из-за какого-то телевизора. Обычный пустой разговор, за которым так удобно прятать настоящее. Потом он отправился в банк.

Но банк был закрыт.

У входа весела лента, возле двери — охрана, внутри еще работали следователи. Туда никого не пускали. Зато он застал Андрея Михайловича. Тот вышел к нему усталый, осунувшийся, в несвежем пиджаке, с лицом человека, который последние недели только и делал, что спорил, подписывал бумаги и держал на плечах разваливающуюся систему.

Увидев Глеба, он остановился. Удивился — но не слишком. Словно уже ждал.

— Глеб Валентинович, — сказал он после короткой паузы, — приходите через неделю. Здесь пока все глухо. Идет следствие. Я думаю, что через несколько дней нам разрешат открыться.

Глеб кивнул.

— Понял.

— И... — Андрей Михайлович чуть понизил голос. — Хорошо, что вы живы.

Глеб посмотрел на него внимательно.

— Спасибо.

На этом они и расстались.

Без лишних слов. Мужчины вообще часто обходятся ими там, где все важное уже и так понятно.

Через неделю он пришел снова. Отдохнувший. Окрепший. Подтянутый. И — задумчивый.

За эти дни внутри него произошло то, чего он ждал и одновременно опасался. Память вернулась окончательно. Не кусками, не вспышками, не отдельными реакциями тела, а вся — тяжелой, цельной, беспощадной волной.

Он вспомнил свою жизнь.

Вспомнил службу в подразделении «Альфа-1». Вспомнил, как их готовили — не как солдат, а как инструмент. Как посылали туда, где официально их никогда не было.

Во Вьетнам.

Потом в Афганистан.

Потом в города, названия которых давно стерлись из открытых архивов, но не стерлись из памяти тех, кто там выжил.

Он вспомнил подавленные бунты. Ночные операции. Приказы, которые не обсуждают.

Людей, с которыми шел плечом к плечу и которых потом словно вырезали из жизни ножом.

Где они теперь? Живы ли? Состарились так же, как он?

Или тоже были «законсервированы», выброшены из собственной биографии, лишены памяти и превращены в тихие тени самих себя?

Стоит ли их искать?

Вопрос был не праздный. Он чувствовал — если программа действительно существовала в том виде, в каком он теперь ее вспоминал, то он не единственный. И если его удалось активировать заново, то, возможно, это можно сделать и с другими.

Но сперва нужно было понять другое: почему активировался именно он, почему именно тогда. И почему толчком стала Вероника.

Эта мысль возвращалась снова и снова. Он даже улыбнулся, вспоминая ту ночь сразу после освобождения. Сначала он узнал, в какой палате она лежит. Это оказалось несложно. Люди плохо прячут информацию от тех, кто умеет ее брать. Потом дождался темноты, обошел корпус снаружи и тихо поднялся к ее окну.

Ему не нужен был вход. Он влез бесшумно, мягко, как влезал когда-то в дома, штабы и комнаты, где спали совсем другие люди и решались совсем другие вопросы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.